
Андрей Глухов
Исполнение пророчеств
Хроники последних времен

Андрей Глухов

Исполнение пророчеств. Хроники последних времен

«Автор»
2026

Глухов А. Д.

Исполнение пророчеств. Хроники последних времен /
А. Д. Глухов — «Автор», 2026

Роман-хроника о последних временах, где сбываются древние пророчества. Мировой заговор «Атлас» готовит пришествие антихриста, вводя тотальный контроль, чипирование и «социальный рейтинг». Но путь к мировой диктатуре лежит через падение «Третьего Рима» — России.Власть предает народ, иерархи православную веру. Храмы пустеют, и на смену истинной Церкви приходит «единая религия». Однако, как гласит пророчество: «Москва — Третий Рим, а четвёртому не бывать». Из руин восстаёт Царь-Удерживающий, чтобы в последней битве сразиться с лжепророком. Книга о том, как покаяние и молитва становятся единственным оружием против тьмы, ведущим к Второму Пришествию.

© Глухов А. Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

«Хроники последних времен: От власти сатаны к победе Христа» 5
Часть 1. СОВЕТ В ГЕФСИМАНЕ 6
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Андрей Глухов
Исполнение пророчеств. Хроники последних времен

«Хроники последних времен: От власти сатаны к победе Христа»

КНИГА ПЕРВАЯ. ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ

Часть 1. СОВЕТ В ГЕФСИМАНЕ

Глава 1. Тринадцать

Дождь шёл с утра — мелкий, настойчивый, какой бывает только в марте на Женевском озере. Он не лил, не хлестал, а именно шёл — ровно, безнадёжно, словно сама природа устала от перемен и решила остановиться на чём-то сером, промозглом, не располагающем ни к радости, ни к печали. Капли стекали по панорамным стёклам особняка, искажая и без того унылый пейзаж: свинцовую гладь озера, голые скелеты деревьев, низкое небо без единого просвета. В такую погоду хорошо спится, хорошо пьётся у камина, хорошо думается о вечном — если, конечно, у тебя есть на это время и совесть.

У Георгия Дмитриевича Извольского не было ни того, ни другого.

Он стоял у окна в гостевой комнате на втором этаже и смотрел на дождь, машинально поглаживая пальцами холодный край хрустального бокала с минеральной водой. Пить не хотелось, есть не хотелось, жить — если честно — тоже не особенно хотелось. Хотелось только одного: чтобы всё это поскорее закончилось, чтобы он сел в самолёт, улетел в Москву, зарылся в бумаги, в совещания, в бесконечную суету государственных дел, которая не оставляет времени думать. Думать было страшно. Думать значило вспоминать, зачем он здесь, в этом доме, с этими людьми, и что именно он им пообещал.

Особняк, в котором его поселили накануне вечера, принадлежал не частному лицу и не государству — по крайней мере, официально. В документах значился благотворительный фонд с уставным капиталом в несколько миллионов швейцарских франков и штаб-квартирой в Цуге, где такие фонды регистрируются десятками, как грибы после дождя. Но Извольский, за двадцать лет вращения в высших эшелонах власти, научился читать между строк и видеть то, что не написано ни в одном реестре. Этот дом был одной из «теневых столиц» мира — местом, где принимались решения, никогда не попадавшие в протоколы саммитов, не обсуждавшиеся в парламентах, не комментировавшиеся пресс-службами. Здесь не было случайных людей. Здесь не было даже имён — только должности, титулы, намёки.

Архитектор, спроектировавший здание в конце девяностых, был, по слухам, одержим эзотерикой. Особняк имел форму перевёрнутого креста, если смотреть на него с высоты птичьего полёта, а внутренняя планировка повторяла каббалистическое Древо Жизни в инверсии — путь не вверх, к свету, а вниз, к основанию, туда, где, как говорят посвящённые, обитают силы иные. Архитектор умер через год после сдачи объекта — остановка сердца в сорок три года, — и перед смертью, рассказывали, кричал что-то о печати и числе, но сиделка, нанятая фондом, то ли не расслышала, то ли не записала. Извольский не верил в подобные вещи. Он вообще давно ни во что не верил — ни в Бога, ни в чёрта, ни в эзотерику, ни в проклятия. Он верил в цифры, отчёты, балансы, в то, что можно потрогать руками или проверить по счетам. Но сейчас, стоя у окна в этом доме, он впервые за много лет почувствовал что-то похожее на суеверный страх — липкий, холодный, поднимающийся откуда-то из глубины, где ещё теплилась, оказывается, не до конца убитая совесть.

В дверь постучали — негромко, но настойчиво.

— Господин вице-премьер, совещание начнётся через пятнадцать минут. Вас просят пройти в Зелёную гостиную.

Голос принадлежал человеку без лица. Всем помощникам, обслуживавшим гостей особняка, была присуща одна странная, почти сверхъестественная особенность: они не запоминались. Средний рост, средний возраст, никаких примет, никаких особых манер, никакого акцента. Через минуту после разговора Извольский уже не смог бы описать этого человека следователю, даже если бы от этого зависела его жизнь. Он не знал, как это достигается —

специальным отбором, психологическим тренингом или чем-то ещё, — но понимал: случайных людей здесь не держат.

— Иду, — ответил он, поставил нетронутый бокал на подоконник и, поправив галстук перед зеркалом, вышел в коридор.

Зелёная гостиная находилась на первом этаже, в крыле, выходящем окнами на озеро. Название ей дали обои — шёлковые, изумрудного оттенка, с вытканными вручную сценами охоты на единорога. Извольский заметил их ещё вчера, когда его провели через эту комнату в спальню, и тогда они показались ему просто дорогим антикварiатом, причудой богатого владельца. Сейчас, войдя сюда вновь, он увидел в этих сценах что-то зловещее, неправильное. Единорог, пронзённый копьём, истекающий кровью на белоснежный снег, — но кровь была не красной, а золотой, словно небесный свет, пролитый на землю. Дева, склонившаяся над ним, — но лицо её выражало не печаль, а странное, почти сладострастное удовлетворение. Рыцари в чёрных доспехах, поднимающие кубки в честь победы, — но кубки эти были наполнены не вином, а чем-то тёмным, густым, напоминающим свёрнутую кровь. Извольский отвёл взгляд. Ему стало не по себе.

За круглым столом красного дерева уже сидели. Он насчитал двенадцать человек. Тринадцатым должен был стать он — и от этого числа, от этой древней, как сам мир, цифры, веяло чем-то таким, о чём он предпочёл бы не думать. Двенадцать колен Израилевых, двенадцать апостолов, двенадцать врат Небесного Иерусалима — и он, тринадцатый, лишний, примкнувший к священному числу, как Иуда на Тайной Вечере, как тот, кто всегда сидит на краю, готовый предать или быть преданным. Слишком много совпадений для человека, который не верит в совпадения.

Он занял свободное место — не во главе стола, не в центре, а сбоку, ближе к двери, словно готовясь в любой момент выскользнуть, убежать, исчезнуть. Он знал своё положение в этой иерархии. Здесь он был не вице-премьером ядерной державы, не человеком, подписывающим законы для ста пятидесяти миллионов. Здесь он был младшим партнёром, полезным, но заменимым. Винтиком. Расходным материалом.

Он обвёл взглядом собравшихся.

Во главе стола сидел человек, которого в узком кругу называли просто Барон, хотя никакого баронского титула он не имел и, кажется, даже бравировал этим. Томас фон дер Хейдте — имя, которое ничего не говорило широкой публике, но заставляло трепетать министров финансов и глав центробанков. Сухой, поджарый, с лицом, напоминавшим хищную птицу — ястреба или сокола, — он сидел совершенно неподвижно, положив руки на стол, и смотрел перед собой пустыми, прозрачными глазами цвета балтийской воды зимой. Одет он был в безупречный костюм от Brioni, на запястье поблёскивал Patek Philippe с вечным календарём — вещь, стоящая больше, чем иной провинциальный завод в России. Ему было около шестидесяти, но держался он с энергией сорокалетнего, и за его спиной стояли активы, превышавшие бюджеты большинства европейских стран. Он не владел ими — он ими управлял. Или, точнее, те, кто стоял за ним, управляли через него. Кто именно — не знал никто. Даже, возможно, сам Барон.

Справа от него расположился сэр Уильям Блэквуд, англичанин с лицом средневекового аскета: высокий лоб, впалые щёки, тонкие губы, сжатые в вечную полуулыбку, и глаза — тёмные, глубоко посаженные, ничего не выражающие. Он представлял структуру, которую в конспирологических кругах называли «Комитетом трёхсот», но сам он предпочитал более нейтральный термин — «Координационный совет». В его потёртом кожаном портфеле, который он никогда не выпускал из рук, лежал, как знал Извольский, план под кодовым названием «S-300» — документ, содержание которого ему лишь намекнули, но не показали полностью. И слава Богу. Потому что то, что он узнал, было достаточно страшно.

Слева от Барона сидела мадам де Шатийон, урождённая София Ротшильд-Амшель. Ей было далеко за семьдесят, но лицо после десятка пластических операций застыло в вечной маске благосклонности — неподвижной, неестественной, пугающей. Она представляла европейскую ветвь дома Ротшильдов и носила на указательном пальце кольцо с изображением Бафомета — козлиной головы с пентаграммой на лбу, стилизованное под ар-деко настолько искусно, что непосвящённый мог принять его за абстрактный орнамент. Извольский не был непосвящённым. Он знал, что означает этот символ и кому на самом деле служат те, кто его носит.

Рядом с ней — Рабинович. Имя его знали только избранные, а фамилию не знал никто. Он представлял финансовые структуры, о которых даже в кулуарах Давоса говорили шёпотом: Федеральная резервная система, Банк международных расчётов, Международный валютный фонд — и ещё десяток организаций с аббревиатурами, за которыми скрывались триллионы долларов и миллиарды человеческих судеб. Маленький, сутулый, с вечно бегающими глазами, он носил чёрную кипу и цитировал Тору на древнееврейском, но цитаты его были странными, вывернутыми наизнанку, словно он читал не Писание, а какую-то иную, тёмную книгу, лишь притворяющуюся священной. Извольский однажды слышал, как он трактовал историю о золотом тельце: «Ошибка Моисея была не в том, что он разбил скрижали, а в том, что он вообще их принёс. Народу нужен зримый бог. Золото — самый зримый из всех богов». И улыбался при этом — тонко, понимающе, словно делился сокровенным знанием.

Остальные были Извольскому либо незнакомы, либо знакомы шапочно — по предыдущим встречам, на которых он присутствовал в качестве наблюдателя, ещё не допущенного до главного. Кардинал из Ватикана с ничего не выражающим лицом итальянского аристократа, уставшего от жизни и от веры. Китаец в скромном сером костюме, ни разу не проронивший ни слова за всё время, но внимательно слушавший, запоминая каждую интонацию. Японец с непроницаемым взглядом, представитель старых банкирских домов, уцелевших после войны и оккупации. Индус в европейском платье, но с тилаком на лбу — знаком принадлежности к высшей касте, для которой политика и бизнес были лишь продолжением духовной иерархии. Араб в белоснежной куфии, представлявший, по слухам, интересы нескольких королевских семей Персидского залива, но на деле — гораздо более древние и тёмные силы, уходящие корнями в доисламские культы. Двое американцев — один из Кремниевой долины, с вечной улыбкой человека, знающего, где зарыты тела, и другой из Лэнгли, с таким же выражением лица, но без улыбки.

Итого двенадцать. Тринадцатый — Извольский.

Барон поднялся. Движение было едва заметным — он не встал, а словно перетёк из одного положения в другое, — но комната мгновенно затихла. Даже дыхание собравшихся, казалось, стало тише, словно сам воздух в Зелёной гостиной сгустился, ожидая слов.

— Джентльмены, — голос у Барона был низкий, с лёгким акцентом, выдававшим северогерманское происхождение, но говорил он по-английски безупречно, с той особой, аристократической небрежностью, которая даётся только с рождения. — Позвольте поприветствовать нашего гостя из России. Георгий Дмитриевич Извольский, вице-премьер по вопросам цифрового развития. Некоторые из вас с ним уже знакомы, для остальных — рекомендую. Полезный человек.

Взгляды обратились к Извольскому. Он выдержал их, не отводя глаз, — годы публичных выступлений научили его держать лицо, даже когда внутри всё сжимается от страха и отвращения. Но сейчас ему казалось, что эти двенадцать пар глаз видят его насквозь — видят его страх, его сомнения, его предательство, его мать в Рязани, молящуюся по ночам перед тёмными иконами.

— Мы собрались сегодня, — продолжил Барон, — чтобы подвести промежуточные итоги и скоординировать дальнейшие действия. Проект «Паноптикум» вступает в решающую фазу.

Он нажал кнопку на вмонтированном в стол пульте, и стена позади него ожила, превратившись в гигантский голографический экран. На нём высветилась карта мира — не политическая и не географическая, а какая-то иная, незнакомая Извольскому. Миллиарды светящихся точек, соединённых тонкими, пульсирующими линиями, образовывали гигантскую сеть, накрывшую всю планету, от полюса до полюса, от Лондона до Владивостока, от Нью-Йорка до Кейптауна. Каждая точка — человек. Каждая линия — связь: финансовая, информационная, социальная. Сеть жила, дышала, пульсировала, и от этого зрелища веяло чем-то нечеловеческим, холодным, всезнающим.

— Семь миллиардов, — Барон обвёл карту рукой, и его тень на экране казалась огромной, чёрной, поглощающей свет. — Семь миллиардов потенциальных угроз. Хаос, неопределённость, иррациональность. Семь миллиардов душ, каждая из которых мнит себя свободной, каждая из которых принимает решения, руководствуясь эмоциями, верой, предрассудками, а не расчётом. Так больше не может продолжаться. Мир должен стать управляемым. Предсказуемым. Эффективным.

Он щёлкнул пальцами, и карта сменилась графиками и диаграммами, на которых Извольский увидел знакомые цифры — те самые, что ему показывали на предварительных встречах, но теперь в гораздо более полном и страшном виде.

— Наши предки начинали с масонских лож и банковских домов, — продолжал Барон, и голос его звучал ровно, монотонно, как у лектора, читающего давно знакомый курс. — Они научились создавать деньги из воздуха и управлять государствами через долги. Следующее поколение — те, кто пришёл в середине двадцатого века, — научилось создавать болезни и предлагать вакцины, создавать кризисы и предлагать единственно верные способы их преодоления. Они убили Бога в головах людей — по крайней мере, так им казалось, — подменив Его культом потребления, комфорта, безопасности. Люди перестали верить в вечность и начали верить в кредит. Это был огромный шаг вперёд.

Он сделал паузу, обвёл взглядом собравшихся, и Извольскому показалось, что в его глазах мелькнуло что-то похожее на торжество — холодное, бездушное, нечеловеческое.

— Но всё это было лишь предисловием. Сегодня мы стоим на пороге нового этапа. Этапа тотального контроля. Не внешнего — внутреннего. Люди сами захотят быть управляемыми. Сами попросят печать на руку и на чело. Потому что мы создадим такие условия, в которых свобода станет невыносимой, а подчинение — единственным способом выжить.

Мадам де Шатийон подняла руку, унизанную перстнями, и её неподвижное, кукольное лицо обратилось к Барону.

— Временные рамки? Когда мы увидим результат?

— Когда технологии позволят контролировать каждого человека в режиме реального времени, — ответил Барон. — Когда вера будет окончательно заменена знанием, а знание — данными. Когда деньги превратятся в чистую цифру, а физическое золото, земля, недвижимость — в архаизмы, которые никому не нужны. Когда человек перестанет быть личностью и станет профилем. Тогда придёт Тот, Кого мы ждали. Тот, Кто соберёт урожай.

Извольский почувствовал, как по спине пробежал холодок — не метафорический, а самый настоящий, физический, словно кто-то невидимый провёл ледяным пальцем по его позвоночнику. Он знал, о ком говорит Барон. Не по имени — имени ему пока не называли, — но по сути. Тот, Кого они ждали. Тот, Кто соберёт урожай. Антихрист. Сын погибели. Человек греха.

Сэр Уильям Блэквуд раскрыл свой знаменитый портфель и извлёк оттуда несколько листов с диаграммами. Он разложил их на столе, и изображение тут же продублировалось на экране, увеличиваясь, разворачиваясь в трёхмерные модели.

— Россия, — произнёс он с тем особым британским прононсом, который звучит как приговор. — Семьдесят процентов населения — биомасса. Необразованная, легко управляе-

мая, не способная к самоорганизации. Они потребляют, работают, рожают детей и умирают, не оставляя следа. Идеальный материал.

Извольский сжал челюсти, но промолчал. Он знал, что спорить здесь бесполезно. Да и кто он такой, чтобы спорить? Соучастник. Предатель. Продавшийся.

— Двадцать процентов — потенциальные противники, — продолжал сэр Уильям, переворачивая страницу. — Разобщённые, без лидера, без чёткой идеологии, но способные к сопротивлению при определённых условиях. С ними мы работаем точечно: кого-то покупаем, кого-то запугиваем, кого-то дискредитируем, кого-то — убираем. Ничего личного. Чистая математика.

Он перевернул последнюю страницу, и на экране высветилась диаграмма, от которой у Извольского перехватило дыхание.

— И, наконец, десять процентов — носители того, что мы называем «духовным кодом». Православные. Не номинальные, которых большинство и которые легко принимают любую власть, лишь бы не трогали их быт. Настоящие. Те, кто ходит в храм не для галочки, кто читает не только Писание, но и отцов, кто верит в пророчества и ждёт своего Царя-Удерживающего. Те, кто молится по ночам, стоя на коленях перед тёмными иконами, и чьи молитвы — единственное, что действительно мешает нам.

Извольский вздрогнул. Он вдруг увидел перед собой лицо матери — Анны Фёдоровны, — её морщинистые руки, сложенные в крестное знамение, её губы, беззвучно шепчущие молитву. Она была одной из этих десяти процентов. И она молилась за него. Каждую ночь.

— Эти десять процентов, — Барон повысил голос, и в комнате воцарилась такая тишина, что слышно было, как дождь стучит по стёклам, — должны исчезнуть. Не физически — по крайней мере, не на первом этапе. Физическое устранение создаст мучеников, а мученики — это семена, из которых вырастает новая вера. Нет. Они должны исчезнуть духовно. Их нужно деморализовать. Заставить усомниться в своей вере. Внушить им, что их история — ложь, их святые — миф, их пророчества — сказки для невежественных старух. Их Бог мёртв, а если и жив, то Ему нет дела до них. Они должны перестать молиться. Должны отчаяться. Должны сдаться.

Он ткнул пальцем в карту, и изображение России увеличилось, расчерченное на зоны разными цветами — красным, жёлтым, зелёным, чёрным.

— Проект «Дестабилизация». Три фазы.

Экран показал первую схему: миграционные потоки, стрелками расходящиеся из Средней Азии в российские регионы, этнические анклавы, зоны конфликтов.

— Фаза первая: управляемый хаос. Миграция, этнические столкновения, экономические кризисы. Мы уже начали — вы видите результаты. Завоз гастарбайтеров, рост преступности, наркотрафик. Люди боятся, люди злы, люди ищут виноватых. Но виноватых нет — есть система, которую они не понимают. Это расшатывает общество изнутри.

Вторая схема: цифровая сеть, накрывающая страну, социальные рейтинги, чипы, резервации.

— Фаза вторая: цифровая петля. Социальный рейтинг, чипирование, тотальный контроль. Георгий Дмитриевич уже работает над законодательной базой — и, надо сказать, весьма успешно.

Взгляды снова обратились к Извольскому. Он кивнул, стараясь сохранить невозмутимость, но внутри всё сжалось в ледяной ком. Он работал. Да, он работал. Он проталкивал законы, он убеждал депутатов, он выступал по телевидению, рассказывая о «цифровом будущем» и «удобстве для граждан». И каждый раз, возвращаясь домой, он открывал ящик стола, смотрел на Евангелие — старое, в потёртом переплёте, подарок матери, — и захлопывал ящик, не решаясь взять книгу в руки. Потому что знал: откроет — и не сможет больше врать. А врать было нужно. Ради семьи. Ради детей. Ради всего, что он построил.

— Фаза третья, — Барон понизил голос почти до шёпота, и всем в комнате пришлось податься вперёд, чтобы расслышать, — Пришествие. Тот, Кого ждали. Он будет говорить на всех языках и понимать все культуры. Он будет творить чудеса — технологии у нас есть, остальное дорисует воображение толпы. Он предложит людям то, чего они жаждут больше всего: мир, безопасность, сытость. И потребует лишь одного — добровольного поклонения. Маленькой печати на правую руку или на чело. И они примут. С радостью. С благодарностью. Потому что мы уже сейчас готовим их к этому.

Рабинович, до этого молча сидевший с закрытыми глазами и, казалось, дремавший, вдруг встрепенулся, словно хищная птица, почуявшая добычу.

«— Как и написано», — произнёс он, поправляя кипу, и голос его был сух, как шелест пергамента. — «И он сделает то, что всем — малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам — положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его».

Он процитировал это на древнееврейском — гортанно, напевно, словно кантор в синагоге, — потом перевёл на английский, потом на французский, и каждое слово падало в тишину, как камень в колодец. Извольский смотрел на него и думал: «Он знает. Он читал Писание и знает, о Ком идёт речь. И он служит Ему. Сознательно. С радостью. Как можно? Как можно, зная истину, выбирать ложь?»

— Забавно, — усмехнулась мадам де Шатийон, и её неподвижное лицо на мгновение исказилось чем-то похожим на живое выражение — презрение, смешанное с торжеством. — Они сами всё предсказали две тысячи лет назад. Сами записали в своей книге, как будет явлен их враг, как он будет править, какую печать поставит. И сами же отказываются верить. Читают каждое воскресенье в храмах — и не видят. Слушают — и не слышат. Потому что Бог, в Которого они верят, «ослепил глаза их и окаменил сердца их». Какая ирония.

— Верят не все, — возразил сэр Уильям, и его голос прозвучал неожиданно жёстко, почти зло. — Именно православные верят. Не так, как католики, для которых вера — это традиция, культура, эстетика. Не так, как протестанты, для которых вера — это социальный клуб и правильное голосование. Православные верят так, как верили первые христиане в катакомбах. Для них Христос — не идея, а живая Личность. Для них молитва — не ритуал, а разговор. Для них пророчества — не метафоры, а реальность, которая сбудется с точностью до дня и часа. Именно поэтому они опасны. Они ждут не нашего Монарха. Они ждут своего Царя-Удерживающего. И пока они ждут и молятся — мы не можем победить окончательно.

Барон резко повернулся к Извольскому, и тот физически ощутил тяжесть его взгляда — холодного, оценивающего, не оставляющего иллюзий.

— Георгий Дмитриевич. Ваша очередь. Расскажите, как продвигается работа над законом о цифровом профиле. И что вы намерены делать с теми самыми десятью процентами, которые «ждут и молятся».

Извольский встал. Колени дрожали, но голос, когда он заговорил, был ровным и спокойным — годы публичных выступлений сделали своё дело, встроили в него автопилот, который включался независимо от внутреннего состояния.

— Закон о цифровом согласии будет принят в осеннюю сессию. Мы называем это программой национальной безопасности и цифровизации госуслуг — формулировка, которая не вызывает отторжения у большинства населения. Привязываем к пенсиям, медицине, образованию. Сначала — добровольно, ради удобства: скидки, приоритет в очередях, быстрые выплаты. Люди любят удобство. Люди любят, когда им дают что-то бесплатно. Через год-полтора добровольное станет обязательным — под предлогом борьбы с терроризмом, мошенничеством, уклонением от налогов. Никто не посмеет возразить. Кто против безопасности? Кто против справедливости?

Он сделал паузу, обвёл взглядом собравшихся. Они слушали внимательно, не перебивая.

— Что касается Церкви — Патриархия получит гарантии невмешательства и налоговые льготы. Официальная позиция будет: «Цифровизация — это технический процесс, не затрагивающий духовной жизни. Чип — не печать, а просто технология». Несогласных священников — а такие будут, я знаю, — объявим маргиналами, сектантами, раскольниками. Лишим сана, приходов, средств к существованию. Те, кто продолжат упорствовать, — изолируем. В народе их назовут сумасшедшими, и большинство поверит. Люди всегда верят тому, что говорят по телевизору.

— А старцы? — подал голос китаец, и все вздрогнули от неожиданности — он впервые за всё время заговорил, и голос его был тих, как шелест рисовой бумаги. — Те, кто живёт в лесах, в монастырях, кого не показывают по телевизору, но к кому едут за советом тысячи? Их не запугать налогами и не лишить приходов. Их слушают. Им верят. Их молитвы, как вы сами сказали, — единственное, что нам мешает.

Барон нахмурился. Он не любил, когда ему напоминали о проблемах, которые он не мог решить быстро и эффективно. Но ответить не успел — в дверь тихо постучали, и вошёл молодой человек, бледный, с испуганными глазами, держа в руках конверт из плотной чёрной бумаги, запечатанный сургучной печатью. На печати был всё тот же символ — семисвечник, вписанный в треугольник, — древний знак, значение которого Извольский предпочёл бы не знать.

«— Срочное донесение», — произнёс молодой человек, протягивая конверт Барону, и вышел, пятясь, словно не смел повернуться спиной к собравшимся.

Барон сломал печать, извлёк листок, пробежал глазами. Лицо его не изменилось — он вообще редко менялся в лице, — но атмосфера в комнате стала другой. Более напряжённой. Более тяжёлой. Словно кто-то невидимый вошёл и встал за спинами собравшихся, дыша в затылок.

«— У нас проблема», — произнёс Барон, откладывая письмо. — В Оптиной пустыни. Некто старец Илий. Ему за девяносто, он почти слеп, почти глух, почти не встаёт с постели. Но он слишком много знает. И, что хуже, слишком много молится.

Мадам де Шатийон фыркнула, и её неподвижное лицо на мгновение ожило гримасой презрения.

— Молитва? Вы серьёзно, Барон? Молитва — это слова в пустоту. Опасно оружие, деньги, информация, компромат. Молитва — удел слабых и старых. Пусть себе молятся, нам-то что?

— Его молитва опасна, — отрезал Барон, и в голосе его прозвучало что-то, чего Извольский никогда раньше не слышал. Страх. Настоящий, глубокий, тщательно скрываемый, но прорвавшийся наружу. — Потому что её слышат. Не мы. Не люди. Тот, Кто слышит такие молитвы. И Тот, Кто на них отвечает. Вы же не думаете, мадам, что мы воюем против плоти и крови? Против русских, против православных, против старцев в лесах? Мы воюем против Того, Кто стоит за ними. И молитва этого старика — не слова в пустоту. Это оружие. И оно работает.

В комнате повисла такая тишина, что Извольскому показалось: он слышит, как оседает пыль на шёлковых обоях, как дождь стучит по стёклам где-то далеко, в другом мире, как бьётся его собственное сердце — гулко, тревожно, словно предупреждая о чём-то.

— Мы решим эту проблему, — наконец произнёс Барон, бросив взгляд на часы. — Не сейчас. Не так, как вы думаете. Убить его — значит создать мученика, и тогда молитва станет только сильнее. Мы поступим иначе. Мы утопим его голос в информационном шуме. Мы сделаем так, что те, кто мог бы его услышать, не услышат. Мы отвлечём их войнами, кризисами, страхом, ненавистью, похотью — всем, что так любит падшая человеческая природа. У нас есть время. Времени, которого у них почти не осталось.

Он встал, давая понять, что совещание окончено. Собравшиеся начали расходиться — по одному, с интервалом в несколько минут, чтобы не привлекать внимания случайных наблюдателей, если таковые вдруг оказались бы поблизости. Извольский остался сидеть — Барон жестом попросил его задержаться.

Когда дверь за последним участником закрылась, Барон подошёл к нему и сел, напротив. Теперь, без свидетелей, его лицо казалось ещё более хищным, ещё более холодным, и в прозрачных глазах цвета балтийской воды Извольский не увидел ничего — только пустоту. Бесконечную, бездонную, засасывающую.

— Георгий Дмитриевич, — сказал Барон тихо, почти интимно, и от этой интимности веяло чем-то ещё более страшным, чем от его публичных речей. — Я знаю, что вы чувствуете. Вы думаете, что продали душу. Что стали предателем своего народа, своей веры, своей матери, которая молится за вас в Рязани.

Извольский вздрогнул. Он никогда не говорил Барону о матери. Откуда тот знает?

— Вы думаете, что я чудовище, — продолжал Барон, и в его голосе не было ни издёвки, ни сочувствия — только констатация факта. — Что я служу сатане, что я поклоняюсь злу, что я хочу уничтожить Россию и всё человечество. Возможно, вы правы. Возможно, нет. Это неважно. Важно другое: вы уже сделали выбор. Вы уже подписали законы, которые мы просили. Вы уже предали — и своих избирателей, и свою страну, и свою веру. Обратного пути нет. Есть только вперёд. Или вниз.

Он помолчал, давая словам улечься, и добавил, понизив голос до шёпота:

— Я не угрожаю вам, Георгий Дмитриевич. Я просто напоминаю: ваша жена в Милане, ваш сын в Лондоне, ваша дочь в Дубае. Мы заботимся о них. Мы обеспечиваем их безопасность, комфорт, будущее. Но эта забота может быть и снята. В любой момент. Вы понимаете?

Извольский молчал. Он понимал. Слишком хорошо понимал.

— Идите, — Барон встал, давая понять, что аудиенция окончена. — Возвращайтесь в Москву. Проталкивайте закон. Делайте то, что должны. И помните: мы не враги. Мы — будущее. А будущее не выбирают. Его принимают. Или исчезают.

Извольский вышел из особняка, не помня, как переставлял ноги. Дождь кончился, но небо оставалось серым, низким, давящим, словно могильная плита. Он сел в поданный автомобиль — чёрный «Мерседес» с тонированными стёклами и швейцарскими номерами, — и водитель, не спрашивая, тронулся с места.

Телефон в кармане пискнул. Сообщение от дочери. Варвара.

«Пап, привет! Я купила новые сумки! Dior, лимитированная коллекция! Спасибо за денежки. Ты лучший!»

Он смотрел на экран, и буквы расплывались перед глазами. Варвара. Его маленькая Варя, которая когда-то сидела у него на коленях и просила почитать сказку перед сном. Теперь она покупает сумки ценой в годовую зарплату учителя где-нибудь в Рязани — на деньги, которые он получает от людей, планирующих уничтожить её страну. Её народ. Её веру. Её будущее. Она не знает. Она просто живёт, тратит, улыбается в камеру, собирает лайки. И он, её отец, делает всё, чтобы она никогда не узнала. Чтобы продолжала улыбаться. Чтобы была счастлива — в своём неведении, в своей золотой клетке, в своём дубайском раю, который вот-вот рухнет.

Он набрал ответ: «Рад за тебя, дочка. Береги себя».

И отключил телефон. Потому что если бы он продолжил писать, то написал бы правду. А правда была такой, что лучше бы ей никогда не знать.

Той же ночью, за тысячу километров от Женевы, в маленькой келье Оптиной пустыни, пахнущей сухими травами, ладаном и воском, старец Илий не спал. Он стоял на коленях перед аналоем, и его иссохшее, почти невесомое тело дрожало от напряжения, но дух был крепок,

как в молодости, как в те далёкие годы, когда он только пришёл в монастырь, горя желанием спасаться и спасать.

Он не знал о совете в Женеве. Не читал донесений разведок. Не видел карт, диаграмм, планов «Паноптикума» и «S-300». Но он чувствовал — не умом, не знанием, а чем-то иным, более глубоким и верным, — что тьма сгущается над миром. Что враг близко. Что миллионы душ, одна за другой, гаснут, словно свечи на ветру, и никто, кроме горстки таких же, как он, немощных стариков и старух, не молится о них, не держит небо над пропастью.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных, — шептал он пересохшими губами, и каждое слово давалось с трудом, но он повторял его снова и снова, как дышит утопающий, как бьётся сердце, как течёт река к морю — неостановимо, вечно, до самого конца.

И вдруг остановился.

Что-то изменилось. Не в келье — в мире. Словно огромная, невидимая рука легла на плечи, придавливая к земле. Словно сама ткань реальности натянулась до предела и готова была лопнуть, как струна, перетянутая неосторожным настройщиком. Воздух сгустился, стал плотным, вязким, и лампада перед иконами замигала, хотя масла было достаточно, а фитиль — новый. Иконы потемнели. Лики святых, обычно светлые и радостные, стали строгими, почти грозными, и старцу показалось, что они смотрят на него — не красками, не деревом, а живыми, любящими и скорбящими глазами.

А потом стены кельи исчезли.

Он стоял один в бесконечном пространстве, над ним — чёрное, беззвёздное небо, под ним — чёрная, мёртвая земля, и он видел всю Россию. От Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Крыма. Видел каждый город, каждую деревню, каждый дом, каждую квартиру, каждую комнату, каждого человека. И видел их души.

Они были как огоньки. Миллионы огоньков, рассыпанных по бескрайним просторам. Одни горели ярко — ровным, чистым, белым светом. Таких было мало, совсем мало, и они казались одинокими свечами в огромном, тёмном храме. Другие теплились еле-еле, готовые погаснуть от малейшего дуновения ветра, — и таких было большинство. Они ещё жили, ещё дышали, ещё надеялись, но уже сдавались, уже опускали руки, уже переставали верить. Третьи погасли совсем. От них остался только пепел да едва заметный дымок. Но их тела ещё ходили, говорили, смеялись, покупали, продавали, любили, ненавидели — не зная, что они уже мертвы.

А над Кремлём появился Змей.

Огромный, чудовищный, невообразимых размеров, он обвивал Россию кольцами, сжимал её в смертельных объятиях, и каждое его кольцо было соткано из человеческих грехов, страхов, компромиссов, предательств, малых и больших отречений. Чешуя его горела багровым, адским пламенем, глаза были двумя провалами в бездну — чёрными, бездонными, засасывающими, — и из этих провалов сочился мрак, густой, липкий, удушающий.

— Моя... — шипел он, и голос его был как скрежет металла по стеклу, как хруст ломающихся костей, как плач миллионов убиенных младенцев. — Моя...

Старец упал лицом вниз. Не от страха — от боли. От боли за эту землю, за этих людей, за эти гаснущие огоньки.

— Господи, помилуй! — закричал он, и его голос, слабый, старческий, прозвучал в этом бесконечном пространстве громче грома. — Не попусти! Спаси! Защити! Не отдай удел Твой на поругание!

Змей услышал. Повернул голову — огромную, уродливую, с пастью, полной острых, как бритвы, зубов, — и посмотрел на старца. И рассмеялся. Смех его был как грохот обвала, как рёв урагана, как треск рушащихся миров.

— Ты смеешь? Ты, червь, прах, ничтожество? Я царь мира сего. Мне поклоняются народы. Мне служат цари и президенты, министры и олигархи, епископы и кардиналы. Мне возводят храмы и приносят жертвы — не козлов и тельцов, а человеческие души, миллионы

душ, добровольно отрекающихся от Того, Кто их создал. А ты смеешь мне перечить? Ты, у которого нет ничего, кроме этой убогой кельи и этой смешной веры в то, что твои слова кто-то слышит?

— Не твоя, — прошептал старец, поднимая голову, и слёзы текли по его морщинистым щекам. — Россия не твоя. Она — Богородицына. Удел Пресвятой Владычицы. И ты не возьмёшь её, пока есть хоть один молящийся. Хоть одна верующая душа. Хоть один огонёк во тьме.

Змей засмеялся снова — ещё громче, ещё страшнее, и от этого смеха задрожали основания мира.

— Молящиеся? Верующие? Огоньки? Посмотри вокруг, старик. Храмы стоят, но пусты — люди приходят туда, как в театр, постоять со свечкой, поставить галочку, успокоить совесть и бежать дальше, в свою суету. Ваши патриархи и митрополиты ездят на дорогих машинах, живут в роскоши, благословляют власть, которая уничтожает народ, и молчат, когда нужно кричать. Ваши богатые жертвуют на храмы, но не отдают нищим, строят золотые купола, но не видят голодных у ворот. Ваши бедные думают только о хлебе и зрелищах, о кредитах и ипотеках, о том, как дотянуть до зарплаты, — и у них нет сил ни на что другое. Некому молиться. Некому верить. Некому гореть. Всё кончено. Ты проиграл.

Он сжал кольца, и старец почувствовал, как воздух уходит из лёгких, как сердце замирает, как тьма наваливается со всех сторон, готовая поглотить его. Он терял сознание. Уже почти потерял.

Но в этот момент из-за спины ударил свет.

Не яркий, не слепящий — мягкий, тёплый, золотистый, как свет заходящего солнца в августе, как свет лампады в келье, как свет материнской любви. Он разливался по бесконечному пространству, и там, где он проходил, тьма отступала, таяла, исчезала, словно её никогда и не было.

Старец обернулся — медленно, с трудом, преодолевая сопротивление невидимых пут.

За ним стояли Они.

Сонм святых. Бесчисленное множество — столько, сколько звёзд на небе, сколько песчинок на морском берегу. В белых ризах, с золотыми венцами на головах, и лица их сияли неземной красотой и покоем. Они смотрели на Змея без страха, без гнева, без ненависти — с жалостью. С той особой, непостижимой жалостью, с какой смотрят на безумца, не ведающего, что творит.

Впереди всех стояла Божия Матерь. Она простирала над Россией Свой омофор — длинное, широкое покрывало, сотканное из света и любви, — и там, где оно проходило, кольца Змея ослабевали, разжимались, распадались в прах. Лик Её был скорбен, но светел, и в глазах Её стояли слёзы — не от боли, а от любви. От той любви, которая сильнее смерти, сильнее ада, сильнее любой тьмы.

Рядом с Ней — Иоанн Креститель, суровый, с горящими глазами пророка, указующий перстом на Змея. За ним — апостолы: Пётр с ключами Царства, Павел с мечом слова Божия, Иоанн с Евангелием, прижатым к груди. За ними — святители: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст — три столпа, на которых стоит Церковь. Преподобные: Антоний и Феодосий Печерские, Сергий Радонежский, Серафим Саровский — те, кто ушёл от мира, чтобы молиться за мир. Мученики: Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Борис и Глеб — те, кто пролил кровь за Христа. Новомученики Российские — те, кого расстреливали в подвалах, кого морили голодом в лагерях, кто не отрёкся даже под пытками.

Стена света. Живая, дышащая, непобедимая.

Змей сжимался. Чешуя его тускнела, пламя гасло, и из огненного, багрового он становился серым, пепельным, а из серого — прозрачным, как утренний туман. Он шипел, извивался, пытался уползти, скрыться в бездне, из которой вышел, но не мог. Свет держал его, как

держит крючок пойманную рыбу, — не насилием, а самой своей природой, перед которой тьма бессильна.

«— Не тронь», — сказала Божия Матерь, и голос Её был тих, как шелест ветра в кронах деревьев, но в нём звучала такая сила, что задрожали основания мира. — Не тронь удела Моего. Доколе Я здесь — ты бессилен. Доколе есть хоть один молящийся — ты не возьмёшь эту землю. Уходи. Твоё время ещё не пришло. Но оно близко.

Змей исчез. Растаял, как дым на ветру, как утренний туман под лучами солнца. И святые тоже исчезли — растворились в свете, ушли туда, откуда пришли, в ту непостижимую, вечную реальность, которая окружает нас всегда, но которую мы не видим, ослеплённые суетой и грехом.

Остался только один.

Старец узнал его. По иконам, по житию, по той особой, тихой радости, которая исходила от него, как тепло от печи в зимний вечер.

Серафим Саровский.

Маленький, сгорбленный старичок в белом балахоне, с палочкой в руке, с ласковой, чуть лукавой улыбкой, от которой морщинки разбегались по лицу, как лучи от солнца. Он подошёл к Илию — невесомо, словно не касаясь земли, — и положил руку ему на плечо. Рука была тёплой, живой, настоящей, и от этого прикосновения по телу старца разлилось тепло и покой.

«— Не бойся, чадо», — сказал Серафим, и голос его был как журчание лесного ручья, как пение птиц на рассвете. — Не бойся змея. Он силён, но не вечен. Господь попускает ему действовать, чтобы отделить пшеницу от плевел, чтобы каждый человек сделал свой выбор — свободно, осознанно, без принуждения. Кто выберет свет — пойдёт к свету. Кто выберет тьму — пойдёт во тьму. Так было от начала, так будет до конца.

— Знаю, отче, — прошептал Илий, и слёзы всё ещё текли по его щекам, но теперь это были другие слёзы — не боли, а благодарности. — Но так страшно. Враг близко. Печать. Антихрист. Неужели конец?

— Знаешь, но не всё, — Серафим покачал головой, и его улыбка стала серьёзной, почти строгой. — Слушай, чадо. Я скажу тебе то, что слышал от Самой Владычицы, когда удостоился предстоять Ей в вечности. Слушай и запоминай. И передай тем, кто сможет услышать. Времени мало. Совсем мало.

Он закрыл глаза, и лицо его стало отрешённым, словно он смотрел куда-то вдаль, за пределы видимого мира. Когда он заговорил, голос его изменился — стал глубже, звучнее, словно говорил не один человек, а многие, целый собор свидетелей.

— Перед концом будет великое отступление. Пастыри станут наёмниками, будут пасти самих себя, а не стадо. Епископы забудут о Христе и будут думать только о мирском — о деньгах, о власти, о комфорте. Все будут называть себя православными, но мало кто будет молиться. Храмы будут строиться, но пустеть — люди придут, постоят, уйдут, и ничего не изменится в их жизни. И тогда, когда отступление достигнет полноты, придёт тот, кого называют сыном погибели.

Он помолчал, и Илий почувствовал, как от этих слов веет ледяным холодом — не телесным, а каким-то иным, проникающим в самую душу.

— Он будет не русским, не православным. Он будет говорить на всех языках, понимать все культуры, цитировать все священные книги — и извращать их смысл так искусно, что многие соблазнятся. Он будет творить чудеса — ложные, но убедительные. Он исцелит болезни, которые сам же и создаст. Он остановит войны, которые сам же и развяжет. Он предложит мир, безопасность, сытость — то, чего люди жаждут больше всего, устав от хаоса и страха. И многие поверят. Многие поклонятся. Многие примут печать — сначала внешне, думая, что это просто технология, просто удобство, а потом и внутренне, отрекшись от Христа.

— А Россия? — спросил Илий, и голос его дрогнул. — Что будет с ней?

— Россия будет последним оплотом, — ответил Серафим, и в его голосе зазвучала такая сила, что, казалось, сами стены невидимого храма, в котором они стояли, задрожали. — Тем Удерживающим, о котором сказано у апостола Павла. Пока в России есть Царь Православный — не по крови, а по духу, помазанник Божий, избранный народом и благословлённый Церковью, — пока народ хранит веру, пока в храмах возносится молитва, пока есть хоть одна старуха, стоящая на коленях перед тёмной иконой, — антихрист не сможет воцариться окончательно. Он будет править миром, но не Россией. Россия будет для него как кость в горле, как заноза в теле, как свет, который он не сможет погасить, сколько бы ни старался.

Голос его стал тише, доверительнее, словно он делился сокровенной тайной, предназначенной только для избранных.

— Тогда введут печать. Цифровую. На руку или на лоб. Без неё нельзя будет ни купить, ни продать, ни получить помощь, ни устроиться на работу. Многие примут её, думая: «Я приму внешне, а душой останусь с Богом. Это просто техника, просто удобство. Что тут такого?» Но это самообман. Печать меняет душу. Делает её неспособной к покаянию. Отрезает от благодати. Принявший её уже не сможет обратиться — даже если захочет. Потому что благодать отступит, и место её займёт пустота. А пустота всегда заполняется тьмой.

— Но и это не конец, — продолжал Серафим, и лицо его просветлело. — После печати, когда тьма сгустится и многим покажется, что всё потеряно, Господь воздвигнет Царя. Помазанника Божия. Последнего Удерживающего. Он выйдет из народа, из тех, кто сохранил веру в катакомбах, в лесах, в подполье, в тайных общинах. Он не будет искать власти — власть сама найдёт его, потому что такова воля Божия. Он будет грешен, как все люди, — но покается. Он будет слаб, как все люди, — но Господь укрепит его. Он соберёт рассеянных, поднимет павших духом, очистит землю от скверны. А потом, когда мир решит, что тьма отступила, — грянет Армагеддон. Последняя битва, в которой свет и тьма сойдутся лицом к лицу. И тогда Царь поведёт народ на эту битву, и враг дрогнет, потому что за ним будет стоять не человеческая сила, а сила Божия.

— А после него? — спросил Илий, затаив дыхание.

— А после него — Христос, — просто ответил Серафим, и в этом простом слове было всё: и надежда, и радость, и вечность. — Второе Пришествие. Суд. Новая земля и новое небо. Вечность, в которой не будет ни смерти, ни плача, ни болезни, потому что прежнее прошло. Всё.

Он благословил старца — широким, иерейским крестом, медленно, торжественно, словно запечатлевая на нём печать дара Духа Святого.

— Ты доживёшь до начала. Твоя задача — молиться. Говорить. Предупреждать. Не бойся, что тебя не услышат. Услышат те, кому нужно. Остальные... что ж, у каждого свой выбор. Господь никого не неволит. Он зовёт — а мы либо откликаемся, либо отворачиваемся. Ты свою часть сделал. Дальше — как Бог даст.

Он исчез. Растворился в воздухе, как и не было. Только тепло от его руки ещё оставалось на плече старца, да в ушах звучали слова пророчества, которые теперь предстояло нести людям.

Стены кельи вернулись. Лампада горела ровно, как прежде. За крошечным оконцем занимался рассвет — серый, туманный, неласковый, какой бывает только ранней весной в средней полосе России, когда зима уже ушла, а тепло ещё не пришло. Старец Илий медленно, с трудом поднялся с колен, опираясь на палочку, подошёл к окну. За окном был лес — сосны, уходящие в небо, тишина, покой. Где-то далеко, за тысячи километров, в Женеве, Барон и его гости разъезжались по своим делам, довольные принятыми решениями, не зная, что их планы уже известны Тому, Кто держит в Своей руке все судьбы.

Где-то в Москве Георгий Извольский, вице-премьер и предатель, сидел в кабинете и пил виски, глядя в пустоту. Где-то в Дубае его дочь Варвара примеряла новые сумки, не зная, на какие деньги они куплены. Где-то в Лондоне его сын Артемий готовился к экзаменам, прези-

рая страну, которой был обязан всем. А где-то в Рязани Анна Фёдоровна, его мать, стояла на коленях перед тёмными иконами и молилась за всех них — за сына, за невестку, за внуков, за всю Россию.

Старец перекрестился.

— Спаси, Господи, люди Твоя. Спаси землю Русскую. Укрепи верных. Вразуми заблудших. Помилуй нас, грешных.

И снова опустился на колени. Потому что молитва не кончается никогда.

Глава 2. Пир во время чумы

Вечер пятницы. Рублёво-Успенское шоссе стояло намертво — многокилометровая пробка, растянувшаяся от МКАД до самых дальних коттеджных посёлков, в которых обычному человеку не бывать никогда, разве что в качестве обслуги. Люди возвращались с работы в свои спальные районы — в Митино, в Бутово, в Балашиху, в Мытищи, — и лица их, подсвеченные красными стоп-сигналами впереди идущих машин, казались одинаковыми: усталыми, серыми, лишёнными всякой надежды. Они работали, получали деньги, которых едва хватало на еду и ипотеку, растили детей, которые уже не верили ни в светлое будущее, ни в справедливость, ни в Бога, и мечтали только об одном — дожить до выходных, выспаться, забыться. Обычная жизнь. Обычная Россия. Та самая, которую Извольский и ему подобные называли «биомассой», «категорией С», «расходным материалом», и даже не вздрагивали при этих словах, потому что давно привыкли, потому что так было проще, потому что иначе пришлось бы признать: они — соучастники уничтожения собственного народа.

На пятьдесят четвёртом километре те, у кого был особый пропуск, сворачивали направо. Шлагбаум, будка с вооружённой охраной, камеры, сканирующие номера и лица, — и за этим кордоном начинался другой мир, отгороженный от остальной России не только бетонными блоками и колючей проволокой, но и чем-то более существенным, что не измерить ни деньгами, ни метрами, ни охранными системами. Здесь жили те, кто считал себя избранными, кто искренне верил, что все эти беды — ковид, QR-коды, рост цен, война, мигранты, наркотики — их не коснутся, обойдут стороной, растворятся где-то там, за высоким забором, в чужой, неинтересной жизни.

Георгий Дмитриевич Извольский стоял у панорамного окна в своей спальне и смотрел, как к воротам особняка одна за другой подъезжают машины гостей. Чёрный «Майбах» Абрамовых, белый «Бентли» Кузнецовых, ядовито-зелёный «Ламборджини» какого-то молодого олигарха из новой волны, чьего имени он никак не мог запомнить, хотя встречались они уже не раз. Машины были похожи на произведения искусства — и стоили соответственно, каждая тянула на сумму, которой хватило бы, чтобы год кормить небольшой город где-нибудь в глубинке, где люди выживают на картошке и молитве. Но кто сейчас думает о глубинке? Кто вообще думает о чём-то, кроме себя?

Сам особняк обошёлся ему в сумму, на которую можно было построить три современные школы с бассейнами, или одну большую больницу, или сотню километров дорог в каком-нибудь разбитом регионе. Трёхэтажное здание из белого каррарского мрамора, спроектированное итальянским архитектором, который раньше строил виллы для Берлускони, а потом переключился на русских заказчиков — они платили больше и не задавали лишних вопросов. Восемнадцать комнат, три гостиные, винный погреб на тысячу бутылок (хотя сам он пил в основном виски, и то в последнее время слишком много), бассейн с подогревом, спа-зона, домашний кинотеатр, бильярдная, кабинет, отделанный морёным дубом. Всё это великолепие занимало три гектара соснового бора — земля, когда-то принадлежавшая лесхозу, а теперь огороженная трёхметровым забором с датчиками движения по периметру, словно не жилой дом, а секретный объект. Впрочем, так оно и было — здесь жил человек, хранивший слишком много тайн.

Извольский отвёл взгляд от окна и посмотрел на своё отражение в стекле. Костюм от Kiton, сшитый на заказ в Неаполе, сидел безупречно, скрывая то, что он похудел за последние месяцы почти на десять килограммов. Запонки с бриллиантами — подарок Киры на прошлую годовщину, когда они ещё делали вид, что у них семья. Часы Patek Philippe — такие же, как у Барона, только модель поскромнее, чтобы не вызывать лишних вопросов. Всё это должно было свидетельствовать об успехе, о статусе, о принадлежности к высшей касте, к тем самым десяти процентам, которые, по плану «Атласа», будут жить в новом мире, когда остальные девяносто исчезнут. Но сейчас, после Женевы, после разговора с Бароном, после того, как он своими глазами увидел карту России, расчерченную на зоны оккупации и резерваций, Извольский чувствовал себя не вершителем судеб, а дорогой вещью, которую купили, используют и в любой момент могут выбросить за ненадобностью. Как те самые девяносто процентов. Как его собственный народ.

В спальню без стука вошла Кира. Жена. Сорок восемь лет, но выглядит на тридцать пять — лучшие косметологи, диетологи, пластические хирурги, личные тренеры, массажисты, вся та армия обслуживающего персонала, которая создаёт иллюзию вечной молодости для тех, кто может себе это позволить. Высокая, стройная, с идеальной укладкой и макияжем, который занимает полтора часа каждое утро, даже если она никуда не идёт — просто потому, что иначе нельзя, иначе ты перестаёшь быть собой, перестаёшь быть «Кирой Извольской», женой вице-премьера, иконой стиля, объектом зависти. В руке у неё был бокал с шампанским, хотя гости ещё не собрались, и она пила его маленькими, аккуратными глотками, как учили на курсах этикета где-то в Швейцарии, ещё в той, прошлой жизни, когда всё казалось простым и понятным.

— Георгий, ты опять застыл, как истукан. Гости приезжают, а хозяин прячется в кабинете. Что люди подумают?

— Что мне плевать на их мнение, — ответил он, не оборачиваясь, и сам удивился тому, как глухо, безжизненно прозвучал его голос.

Кира подошла ближе, встала рядом, и он почувствовал запах её духов — Clive Christian, кажется, или что-то в этом роде, он уже не помнил, когда в последний раз обращал внимание на такие мелочи. Раньше, много лет назад, когда они только познакомились — она была молодой, смешливой, настоящей, — её запах сводил его с ума. Теперь это был просто запах дорогих духов, один из многих, такой же, как у десятков других жён, с которыми она встречалась на приёмах и обедах.

«— Ты сам не свой после этой поездки в Швейцарию», — сказала она, глядя на него поверх бокала, и в её голосе не было ни тревоги, ни сочувствия — только лёгкое раздражение, как у хозяйки, обнаружившей, что любимая вещь сломалась и требует починки. — Что там случилось? Ты похудел, ты плохо спишь, ты разговариваешь во сне. Я вызывала врача, но ты отказался. Я пытаюсь поговорить — ты молчишь. Что происходит, Георгий?

Он наконец повернулся к ней и посмотрел прямо в глаза — впервые за долгое время, не отводя взгляда, не прячась за дежурными фразами. И то, что он увидел в её глазах, заставило его вздрогнуть. Пустота. Там не было ни любви, ни ненависти, ни даже любопытства — только пустота, прикрытая дорогой косметикой и отрепетированными улыбками. Она давно уже не жила с ним — она жила рядом с ним, в параллельной реальности, где имели значение только статус, деньги, комфорт и мнение «нужных людей». Всё остальное — его душа, его совесть, его страхи, его мать, молящаяся в Рязани, его народ, который он предал, — всё это для неё не существовало. Просто потому, что она не хотела, чтобы это существовало. Так было удобнее.

— Кира, — сказал он медленно, словно пробуя слова на вкус, — ты знаешь, что я голосовал за закон, который позволит следить за каждым человеком в этой стране? Знать, что он ест, куда ходит, с кем говорит, о чём думает. И если он думает «неправильно» — его лишат всего. Работы, денег, медицинской помощи, жилья. Его выселят в резервацию, где он умрёт от голода и холода. Ты знаешь об этом?

Кира сделала ещё один глоток, и её лицо не изменилось — та же вежливая, чуть скучающая маска, которую она надевала на приёмах, когда кто-то из гостей начинал говорить о политике.

— Это тот самый закон, о котором ты говорил? «Цифровой профиль»? Ну и что? Ты же не дурак, ты знаешь, что делаешь. Значит, так надо.

— Кира, — он повысил голос, и в нём прозвучало что-то, чего она никогда раньше не слышала — не гнев, не раздражение, а отчаяние, глубокое, чёрное, безысходное, — ты понимаешь, что через год люди без этого кода не смогут купить хлеб? Что через два года их отправят в резервации за Урал, где они будут умирать от тифа и голода? Что через три года миллионы — десятки миллионов! — просто исчезнут, и никто даже не вспомнит о них? Ты понимаешь, что я — один из тех, кто это устроил? Что я — предатель? Убийца? Пусть не своими руками, но убийца?

Она поставила пустой бокал на подоконник, поправила причёску, одёрнула платье — движения отточенные, автоматические, лишённые всякого чувства.

— Георгий, я не понимаю в политике. Это твоя работа. Ты делаешь её хорошо, тебя ценят, мы живём достойно. Остальное меня не касается. И не надо меня грузить этими... подробностями. У нас гости через час. Приведи себя в порядок и выйди к людям. Не позорь меня.

Она развернулась и вышла, цокая каблуками по мраморному полу, и звук этот — острый, ритмичный, безжалостный — ещё долго стоял у него в ушах, как приговор. Извольский остался один. Он смотрел на закрытую дверь и думал о том, что его жена, с которой он прожил двадцать пять лет, родившая ему двоих детей, никогда не была ему по-настоящему близка. Она была красивой вещью, дорогим аксессуаром, частью имиджа — и он сам выбрал её именно такой, потому что в тот момент, когда они познакомились, ему нужна была именно такая жена: эффектная, статусная, не задающая лишних вопросов. Теперь он пожинал плоды своего выбора. И плоды эти были горьки, как желчь.

Гостиная на первом этаже была оформлена в стиле «русский ампир» — с колоннами, лепниной, хрустальными люстрами из венецианского стекла, портретами государей на стенах и иконами в дорогих окладах, перед которыми никогда не зажигали лампаду. Всё это было сделано не из любви к русской истории или православной вере, а потому, что так посоветовал дизайнер: «Сейчас модно, создаёт атмосферу исторической преемственности, патриотично, но со вкусом». Извольский тогда согласился, даже не задумываясь. Теперь, глядя на эти иконы — Спас Нерукотворный, Казанская Божия Матерь, Николай Чудотворец, — он чувствовал, как они смотрят на него. Не красками, не деревом — чем-то иным, что невозможно объяснить рационально, но что чувствует каждая живая душа, даже самая падшая. Они смотрели с укором. С печалью. С любовью, от которой было ещё больнее.

Сегодня в гостиной собралось человек тридцать — цвет московской элиты. Чиновники, олигархи, медийные персоны, пара депутатов, один сенатор, несколько «эффективных менеджеров» из госкорпораций, чьи имена мелькали в новостях в связи с очередными миллиардными контрактами. Женщины в платьях от Chanel и Dior, мужчины в костюмах от Brioni и Kiton, на шеях у многих — массивные золотые кресты, под которыми никогда не было исповеди, а в глазах — та же пустота, что и у Киры, только прикрытая разными масками: у кого-то — деловой хваткой, у кого-то — светской любезностью, у кого-то — показным патриотизмом. Они говорили о деньгах, о политике, о курсе рубля, о том, кто из «своих» попал в опалу, а кто, наоборот, возвысился. Они смеялись, пили шампанское и виски, ели чёрную икру и устриц, доставленных утром спецрейсом из Франции, и ни один из них не думал о том, что где-то там, за пределами этого особняка, в промёрзших квартирах и разбитых деревнях, живут люди, которые завтра не будут знать, на что купить хлеб. Или, может, думали — но отгоняли эти

мысли, как назойливых мух, потому что иначе пришлось бы признать: они — соучастники. Они — предатели. Они — убийцы. А это слишком тяжело. Слишком страшно. Лучше не думать.

Кира была в своей стихии. Она порхала от одной группы гостей к другой, одаривая всех отрепетированными улыбками и ничего не значащими фразами, которые были выучены наизусть и повторялись из приёма в приём, из года в год, как заезженная пластинка. «Как ваша дочь? Уже поступила в Оксфорд? Какая прелесть!» «Ах, вы купили виллу на Сардинии? Мы тоже присматриваемся, но пока не можем выбрать — Георгий так занят, совсем не уделяет мне времени». «Нет, вы слышали, что вчера ляпнул этот журналист про СВО? Кошмар, просто кошмар! Как можно такое говорить о нашей армии?» И все эти слова были абсолютно пусты, лишены всякого смысла, как шелуха от семечек, — но гости слушали, кивали, улыбались в ответ, потому что так было принято, так было удобно, так все делали.

Извольский стоял у бара, потягивал виски и наблюдал за этим спектаклем. Когда-то он был его частью — не просто зрителем, а одним из главных актёров. Когда-то ему нравилось быть в центре внимания, чувствовать себя хозяином жизни, вершителем судеб, человеком, от которого зависят миллионы. Теперь всё это казалось ему декорацией к дурному, безвкусному спектаклю, который вот-вот закончится — и закончится страшно, кроваво, необратимо. Он это знал. Он видел план «Атласа». И он продолжал играть свою роль, потому что не знал, как выйти из игры, не погубив себя и свою семью.

Над баром висел огромный плазменный экран. Звук был выключен, уступая место негромкому джазу, льющемуся из скрытых динамиков, но картинка мелькала, притягивая взгляд. Новости. Репортаж откуда-то из Сибири. Город, название которого Извольский не разобрал, да и не важно это было — все эти города сейчас выглядели одинаково. При минус сорок пять там лопнули трубы теплотрассы. Люди остались без отопления в самый разгар зимы, и местные власти, как обычно, «принимали меры», то есть писали отписки и ждали, когда ситуация рассосётся сама собой. На экране — старуха в чёрном платке, беззвучно шевелящая губами, и её лицо, изрезанное морщинами, выражало не гнев, не отчаяние, а какую-то бесконечную, всепрощающую усталость. Корреспондент в пуховике кивал, делая вид, что сочувствует, но он уже знал, что этот сюжет не выпустят в прайм-тайм, что его покажут где-нибудь глубокой ночью, когда все нормальные люди спят, а утром забудут, замотают другими новостями, более «важными» и «рейтинговыми».

Извольский смотрел на эту старуху и думал о своей матери. Анна Фёдоровна. Она жила в Рязани, в старой панельной девятиэтажке, на пенсию, которой едва хватало на лекарства от давления и сердца, и каждую зиму мёрзла, потому что батареи в её доме были едва тёплыми, а на ремонт теплотрассы у города не было денег — точнее, деньги были, но уходили куда-то в другие места, в другие карманы, в другие особняки, похожие на его собственный. Он отправлял ей деньги каждый месяц, исправно, как хороший сын, и она брала их, благодарила, и всё отдавала в церковь или нищим, которые толпились у храма. ««Мне ничего не нужно, сынок», — говорила она по телефону, и голос её был тих, спокоен, словно она уже не принадлежала этому миру, а только ждала, когда Господь призовёт её к Себе. — Ты только душу свою не губи. Бога не забывай. Молись. Он слышит».

Он не забывал. Он просто перестал верить. Или думал, что перестал. А теперь, глядя на эту чужую старуху на экране, так похожую на его мать, он вдруг почувствовал, как внутри что-то дрогнуло — не мысль, не чувство, а что-то более глубокое, первобытное, что жило в нём с детства и что он пытался заглушить все эти годы карьерой, деньгами, властью, виски. Совесть. Она ещё была жива. Она болела, как болит запущенная рана, которую не лечили, а только прикрывали дорогими повязками.

— Георгий Дмитриевич! — к нему подошёл Абрамов, владелец нескольких металлургических комбинатов, человек с лицом мясника и манерами трактирщика, разбогатевший в девяностые на приватизации и с тех пор уверенный, что весь мир обязан ему только потому,

что он — Абрамов. — Слышал, вы в Женеве были? Как там, в Европе? Всё цветёт? А у нас тут... — он махнул рукой, и в этом жесте было не отчаяние, а скорее досада, словно речь шла не о судьбе страны, а о плохой погоде, испортившей пикник. — Закон этот, цифровой, всю душу вымотал. Говорят, скоро всем чипы вживлять будут. Это правда?

Извольский посмотрел на него. Абрамов не был дураком — по крайней мере, в том, что касалось его личной выгоды. Он знал ответ на свой вопрос, знал даже больше, чем показывал. Он просто хотел услышать подтверждение из первых уст, от человека, который сидел за тем самым столом в Женеве. Хотел убедиться, что его, человека с состоянием в несколько миллиардов долларов, эта участь не коснётся, что элита останется элитой при любой системе, что «золотой миллиард» — это и есть он и ему подобные. Он хотел, чтобы его успокоили. Погладили по головке. Сказали: «Ты хороший, ты свой, тебя не тронут».

— Правда, — сказал Извольский, и каждое слово падало, как камень в колодец. — Но вас это не коснётся. Вы же лояльны. Вы платите налоги — или, по крайней мере, делаете вид, что платите. Вы не ходите на митинги. Вы поддерживаете власть. У вас высокий социальный рейтинг. Вы — категория А. Элита. Вас не тронут.

Абрамов кивнул, удовлетворённый, и его лицо расплылось в улыбке — жирной, самодовольной, отвратительной в своей откровенности. Он получил то, за чем пришёл: подтверждение своей исключительности, индульгенцию на дальнейшее существование в новом мире. Он не спросил, что будет с теми, кто не лоялен, кто не платит налоги, кто ходит на митинги или просто молится в храмах, не принимая чипы. Ему это было неинтересно. Он уже отделил себя от «них» — от народа, из которого вышел и который предал точно так же, как Извольский, только, в отличие от Извольского, без малейших угрызений совести. Ему было легко. Ему было удобно. Он спал по ночам спокойно, без кошмаров, потому что совесть его была чиста — чиста, как выметенный подвал, в котором не осталось ничего живого.

Извольский допил виски и поставил стакан на барную стойку. Ему вдруг стало невыносимо душно в этой гостиной, среди этих людей, среди этих улыбок, среди этого джаза и звона бокалов. Он вышел в коридор, поднялся в кабинет, закрыл дверь на ключ. Сел в кресло, уставился на портрет Николая Второго. Государь смотрел на него с укором — так, по крайней мере, ему казалось. «Что ты сделал с Россией? Что ты сделал с народом, который тебе доверился? Ты хуже тех, кто расстрелял меня и мою семью в подвале Ипатьевского дома. Те хотя бы верили в свою правду, какой бы чудовищной она ни была. А ты не веришь ни во что. Ты просто продался. За деньги. За статус. За иллюзию безопасности».

Он открыл ящик стола. Там, под ворохом бумаг — проекты законов, докладные записки, отчёты, — лежало Евангелие. Старое, в потёртом кожаном переплёте, с пожелтевшими страницами, пахнущее ладаном и воском. Подарок матери на тридцатилетие, когда он ещё верил — или думал, что верит, или хотел верить. Он не открывал его много лет. Боялся. Боялся, что слова, которые он там прочтёт, окажутся правдой — той самой, от которой он бежал всю жизнь, зарываясь в работу, в деньги, в статус, в виски. Боялся, что они обличат его, покажут ему его самого — не того, кем он казался окружающим, а того, кем он был на самом деле. Предателя. Убийцу. Иуду.

Сегодня он открыл. Наугад, не глядя, просто ткнул пальцем в страницу и прочитал: «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?»

Он долго смотрел на эти слова, и они жгли его, как огонь, как кислота, как сама истина, от которой нельзя спрятаться. Потом закрыл книгу, убрал обратно в ящик, запер на ключ. Налил ещё виски — уже не в стакан, а прямо в горло, из горла, как пьют не от хорошей жизни, а от безысходности.

— Нет у меня души, — прошептал он в пустоту кабинета, и голос его был хриплым, чужим, словно принадлежал не ему, а кому-то другому, кто поселился в нём после Женевы. — Нет. И не было.

Но где-то глубоко внутри, там, куда он сам боялся заглядывать, что-то протестовало против этих слов. Что-то, похожее на голос совести, которую он считал давно умершей. Она была жива. Она болела. Она кричала — тихо, едва слышно, но кричала. И он знал, что однажды этот крик станет невыносимым, и тогда ему придётся выбирать: продолжать врать себе и другим, медленно сгорая изнутри, или... Или что? Он не знал. Пока не знал.

В другом конце особняка, в своей комнате, обставленной с той же безвкусной роскошью, что и весь дом, Кира разговаривала по телефону с сыном. Лицо её, обычно застывшее в маске вежливого безразличия, вдруг потеплело, ожило, стало почти настоящим. Так бывало только когда звонили дети — Артемий или Варвара. Только ради них она ещё оставалась человеком, а не дорогой вещью, не аксессуаром, не функцией. Только их голоса пробивали броню, которую она выстраивала годами, — броню из денег, статуса, привычек, страхов.

— Артемий! Зайчик, как ты?

На экране возникло лицо молодого человека. Холёное, с аккуратной щетиной, в дорогом кашемировом свитере, с той особой небрежностью, которая даётся только большими деньгами и полной уверенностью в своём превосходстве. Глаза холодные, пустые — глаза человека, который никогда ни в чём не нуждался и поэтому не научился ценить то, что имеет. Артемий Извольский, студент Итона, будущий стажёр JP Morgan, гражданин мира, как он сам себя называл. Россия для него была «failed state» — несостоявшимся государством, о котором он читал в британских газетах и которое искренне презирал, хотя сам был обязан этой стране всем: и деньгами отца, и возможностью учиться в лучших школах, и самим фактом своего существования. Он не думал об этом. Ему было удобно не думать.

— Маман, привет. Я в библиотеке, готовлюсь к экзаменам. У нас завтра семинар по мировой политике. Будем обсуждать Россию как failed state. Мне нужны аргументы. Ты не в курсе, папа может прислать какие-нибудь инсайдерские данные? Ну, чтобы я блеснул?

Кира улыбнулась — нежно, почти по-матерински, и в этой улыбке было всё, что осталось в ней человеческого.

— Тёма, не надо так. Ты же русский. Твой отец — вице-премьер России. Твои предки...

— Маман, — он закатил глаза, и этот жест был таким знакомым, таким родным, что у неё защемило сердце, — какой я русский? Я родился в Лондоне. Я учусь в Итоне. Я думаю по-английски, мне даже сны снятся на английском. Русский — это язык предков, как латынь. Интересно, но неактуально. А папа... папа — русский чиновник. Это профессия, а не национальность. Он сам так говорил, когда я был маленьким. Помнишь?

Кира молчала. Она помнила. Георгий действительно так говорил — в те времена, когда они оба были молоды, амбициозны и считали, что Россия — это просто место, где можно сделать карьеру и заработать деньги, а всё остальное неважно. Теперь она не была уверена, что это правда. Но спорить с сыном не стала — не хотела портить редкие минуты общения.

— Ладно, маман, у меня встреча. Передай папе, что деньги пришли, спасибо. Кстати, мне предложили стажировку в JP Morgan. Папа сможет договориться, чтобы меня взяли без лишних собеседований?

— Сможет, — вздохнула она, уже зная ответ.

— Окей. Бай-бай!

Экран погас. Кира ещё несколько секунд смотрела на него, словно надеясь, что сын перезвонит, скажет что-то ещё, спросит, как у неё дела, как она себя чувствует, как живёт. Но он не перезвонил. Он никогда не перезванивал. Он был занят своей жизнью — успешной, блестящей, пустой, — и в этой жизни для неё оставалось ровно столько места, сколько нужно, чтобы

попросить денег или помощи в устройстве на стажировку. Она сама его таким воспитала. Сама создала этот мир, в котором нет места ничему настоящему. Теперь пожинала плоды.

Она убрала телефон в сумочку, поправила причёску перед зеркалом и вернулась к гостям, снова надев маску радушной хозяйки. И никто из них не заметил, что под этой маской — пустота. Такая же, как у них самих.

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты. Теми же часами.

Варвара Извольская лежала в шезлонге у бассейна на сорок пятом этаже небоскрёба с панорамным видом на Персидский залив. На ней был купальник за две тысячи долларов, на лице — солнцезащитные очки Dior, в руке — бокал с шампанским, уже третий за вечер. Рядом на треноге стоял телефон, снимающий сторис для её двухмиллионной аудитории — девочек-подростков, мечтающих о такой же «красивой жизни», и взрослых женщин, которым эта жизнь казалась недостижимым раем.

— Всем привет! — она нацепила дежурную улыбку, отточенную перед зеркалом тысячами повторений. — Мы на закате в моём любимом баре! Сегодня был тяжёлый день: выбирала купальник для завтрашней фотосессии. Покажу вам несколько вариантов, голосуйте в комментариях!

Она смеялась, получала лайки, отвечала на комментарии — «Ты такая красивая!», «Где купила купальник?», «Хочу такую же жизнь!» — и чувствовала, как внутри неё разверзается чёрная, бездонная пустота, которую не могли заполнить ни лайки, ни шопинг, ни алкоголь, ни случайные мужчины, забываемые наутро. Она жила в самой дорогой стране мира, ни в чём себе не отказывала, имела миллионы подписчиков и десятки тысяч долларов в месяц от отца. И при этом чувствовала себя абсолютно, беспросветно, безнадёжно несчастной.

Когда камера выключалась, наступала тишина. Настоящая, глубокая, заполненная только шумом прибоя где-то далеко внизу и пустотой внутри. Она смотрела на закат — ослепительно красивый, как всё в Дубае, — и думала о том, что эта красота фальшива. Как и она сама. Как и вся её жизнь.

Иногда ей снились кошмары. Один и тот же сон, повторяющийся снова и снова, сколько она себя помнила — ещё с тех пор, как уехала из России, сбежала от бабушкиных молитв и отцовского влияния в свой собственный, «свободный» мир. Бесконечный коридор, стены которого увешаны зеркалами, и в каждом зеркале — её отражение. Но не нынешнее, молодое, красивое, а будущее — старое, морщинистое, страшное. Отражения тянут к ней руки, пытаются затянуть в зеркальный плен, и она кричит, но голос её не слышен, и она падает в пропасть, которая разверзается под ногами, и летит, летит, летит — бесконечно, пока не просыпается в холодном поту, с колотящимся сердцем и единственным желанием: забыться. Выпить. Уснуть. Не думать.

Психолог, американец с безупречной улыбкой и пустыми глазами, берущий тысячу долларов в час, объяснил это страхом потери молодости, «кризисом идентичности» и «токсичным влиянием семьи». Он советовал медитировать, заниматься йогой, «работать с принятием себя» и, конечно, продолжать терапию — как можно дольше, ведь каждый сеанс приносил ему очередную тысячу. Варвара купила абонемент в самый дорогой йога-центр Дубая, начала медитировать, даже съездила на ретрит в Гималаи, где просветлённые гуру учили её «отпускать прошлое» и «жить в настоящем моменте». Кошмары не ушли. Они просто стали реже — или она научилась просыпаться до того, как падение достигало дна.

Сейчас, глядя на закат над Персидским заливом, она вдруг вспомнила бабушку. Анну Фёдоровну. Она звонила раз в месяц, говорила тихо, словно боялась потревожить: «Варенька, как ты там? Не забыла Бога-то? Помолись иногда. Он слышит. Он ждёт». Варвара всегда быстро сворачивала эти разговоры, придумывала предлоги: «Бабушка, у меня съёмка через пять минут, давай потом», «Бабушка, я перезвоню, сейчас не могу говорить». И клала трубку.

И потом целый вечер пила, чтобы заглушить чувство вины, которое накатывало, как волна, и душило, душило, не давая дышать.

Телефон пискнул. Сообщение от брата: «Сеструха, привет! Как Дубай? У меня стажировка в JP Morgan, папа обещал помочь. Ты как?»

Она набрала ответ: «Норм. Живу. Фотосессии, тусовки. Ты там не скучай».

И отложила телефон. Закат догорал, небоскрёбы Дубая зажигались тысячами огней, создавая иллюзию вечного праздника, вечной жизни, вечного счастья. Но Варвара знала: это только иллюзия. За блестящими фасадами — пустота. За улыбками — отчаяние. За деньгами — страх. Иллюзия, созданная для таких, как она, — для тех, кто может позволить себе не думать о завтрашнем дне, потому что завтрашний день для них обеспечен деньгами отца, деньгами, пропахшими кровью и предательством.

Она закрыла глаза и впервые за долгое время попыталась помолиться. Не словами — она не знала слов, забыла их, как забывают ненужный язык. Сердцем. Просто: «Господи, если Ты есть, помоги мне. Я запуталась. Я не знаю, кто я. Я не знаю, зачем живу. Прости меня. Пожалуйста, прости».

Ответа не было. Только шум прибоя да далёкий гул мегаполиса. Но внутри что-то дрогнуло — едва заметно, как первый росток, пробивающийся сквозь асфальт. Что-то, чего она не чувствовала уже много лет. Надежда? Или просто усталость, достигшая предела? Она не знала. Но впервые за долгое время ей не хотелось пить. Ей хотелось просто сидеть и смотреть на закат. И, может быть, ещё раз попробовать помолиться. Завтра. Или послезавтра. Или когда-нибудь.

Рязань. Улица Садовая, дом 14, квартира 8. Той же ночью.

Анна Фёдоровна не спала. Она стояла на коленях перед старым, потемневшим иконостасом, и её пальцы, сложенные в крестное знамение — дрожали от напряжения, но движения были точны, выверены десятилетиями молитвы, десятилетиями невидимой брани, о которой никто не знал и которую никто не ценил. Вокруг была нищета — пенсии в двенадцать тысяч рублей едва хватало на лекарства, на хлеб, на то, чтобы заплатить за квартиру, и она давно уже не покупала себе ничего нового, донашивала старое, штопаное-перештопаное, потому что «мне ничего не нужно, Господи, только бы они спаслись». Только бы они спаслись.

Она молилась за сына. Георгий. Её Жора, который когда-то был маленьким, смешным мальчишкой с разбитыми коленками и вечно торчащим из кармана учебником по математике. Который вырос, уехал в Москву, сделал карьеру, стал большим человеком, вице-премьером, и потерял себя. Потерял веру. Потерял совесть. Она знала это — не из новостей, не из разговоров, а сердцем, тем особым, материнским знанием, которое не обманешь никакими улыбками и бодрыми фразами по телефону. Она чувствовала: её сын в беде. Её сын запутался, продался, предал — и теперь мучается, но не знает, как выбраться, и боится, и пьёт, и медленно умирает изнутри. И она ничего не могла сделать. Только молиться.

Она молилась за невестку. Кира. Красивая, ухоженная, с безупречными манерами, которые когда-то так понравились Георгию, а теперь стали для него тюрьмой. Чужая. Всегда была чужой, даже когда улыбалась и называла её «мамой», даже когда приезжала в гости и сидела за одним столом. Анна Фёдоровна не осуждала её — она просто не понимала, как можно жить, не веря, не надеясь, не любя, как можно тратить свою единственную, бесценную жизнь на шопинг, приёмы, сплетни и пустые разговоры. Но она молилась и за неё. Потому что Христос велел молиться за всех. Даже за врагов. А Кира не была врагом — она была просто заблудшей душой, которая сама не знала, что творит.

Она молилась за внуков. Артемий и Варвара. Тёма и Варя. Они были её единственной отрадой, её надеждой, её болью. Артемий — в Лондоне, учится, строит карьеру, презирает Россию и всё русское, называет свою родину «failed state» и искренне верит, что он — гражданин мира, а не сын своего народа. Варвара — в Дубае, красивая, успешная, с миллионами

подписчиков, и при этом абсолютно, безнадёжно несчастная, топящая свою пустоту в алкоголе и шопинге. Они были так далеко — не только географически, но и духовно, — что, казалось, никакая молитва не долетит до них, не пробьёт эту броню из денег, статуса, комфорта и самодовольства. Но она продолжала молиться. Потому что верила: Господь слышит. Господь ждёт. Господь сильнее любой брони.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных, — шептала она, и каждое слово давалось с трудом, но она повторяла его снова и снова, как дышит утопающий, как бьётся сердце, как течёт река к морю. — Спаси и сохрани раба Твоего Георгия. Вразуми его. Не дай погибнуть душе его. Спаси рабу Твою Киру. Открой ей глаза, смягчи сердце. Спаси рабу Твою Варвару. Она заблудшая, Господи, но не злая — просто запуталась, просто не знает, где искать правду. Спаси раба Твоего Артемия. Он не ведает, что творит, он ослеплён гордыней и чужими словами. Прости их всех. И меня, грешную, прости. И спаси Россию. Спаси народ Твой. Не дай врагу восторжествовать. Не дай тьме победить.

Она кланялась до земли, касаясь лбом холодного пола. Вставала. Снова кланялась. И так — час за часом, ночь за ночью, год за годом. Вокруг была нищета, болезни, одиночество, старость. Но здесь, в этой убогой квартирке на окраине Рязани, теплился свет. Маленький, незаметный, но живой. Свет веры. Свет любви. Свет надежды. Свет, который тьма не могла объять.

Анна Фёдоровна не знала, слышит ли её Бог. Она просто верила. И продолжала молиться. И где-то там, в невидимом мире, где решаются судьбы народов и империй, её тихая, едва слышная молитва звучала громче грома, ярче молнии, сильнее любой человеческой силы. Потому что это была молитва праведницы. А молитва праведницы, как сказано в Писании, много может.

А где-то далеко, в Женеве, Барон и его гости уже забыли о «проблеме в Оптиной пустыни», занятые другими, более важными, как им казалось, делами. Они не знали, что настоящая проблема — не только старец Илий, не только священнослужители, не только пророчества, которые они считали сказками. Настоящая проблема — вот эти невидимые миру праведники: старухи в платках, что молятся ночами в убогих квартирках; монахи в монастырях и скитах, что не прерывают свою молитву; отцы семейств, что после двенадцатичасовой смены становятся на колени перед иконами; матери, что растят детей в вере, когда весь мир твердит, что вера — удел слабых; молодые парни, что идут в бой с крестом на груди и молитвой на устах. Они не боятся ни угроз, ни смерти, ни самой тьмы. Потому что с ними — Тот, Кто победил мир.

И пока они молятся — Россия жива.

Глава 3. Архитекторы нового мира

Москва-Сити просыпался раньше всего города — ещё затемно, когда над Москвой-рекой висел густой, промозглый туман, а редкие прохожие кутались в воротники и спешили укрыться от ветра. Стеклянные башни, построенные на деньги, выведенные в офшоры ещё в те времена, когда слово «цифровизация» не пугало, а обещало светлое будущее, вонзались в низкое серое небо, и их верхушки терялись в облаках, словно уходили в какую-то иную, недоступную простым смертным реальность. Здесь, на пятьдесят первом этаже башни «Меркурий», располагался «Институт цифрового развития» — структура с безобидным, почти академическим названием, за которым скрывалось то, что через несколько лет назовут «цифровым концлагерем», а пока — просто «передовой технологией», «удобством для граждан», «шагом в будущее».

Андрей Ильин вошёл в вестибюль ровно в семь сорок пять, как делал каждый рабочий день последние три года, с тех пор как устроился сюда сразу после университета. Двадцать семь лет, высокий, худой, с заметной сутулостью, которая выдавала годы, проведённые за компью-

тером — сначала в детстве, когда он, вместо того чтобы гонять с пацанами во дворе, сидел дома и разбирал старый отцовский «Спектрум», потом в институте, где писал первые программы, и вот теперь здесь, в главном цифровом проекте страны. Лицо у него было интеллигентное, с тонкими чертами, которые могли бы показаться даже красивыми, если бы не постоянное выражение усталости и какая-то внутренняя напряжённость, словно он всё время решал в уме сложную задачу и не мог найти ответ. Но главным были глаза — серые, глубокие, с той особой поволокой, которая выдаёт человека мыслящего, привыкшего не просто потреблять информацию, а пропускать её через себя, анализировать, сомневаться. В них ещё теплилась совесть. Пока теплилась.

Вестибюль башни напоминал аэропорт высшего класса — или, может быть, вход в какую-то секретную лабораторию из фантастического фильма. Сканеры сетчатки на входе, считыватели отпечатков пальцев, камеры, фиксирующие термограмму лица, датчики движения, реагирующие на малейшее изменение позы. Охрана — бывшие сотрудники спецслужб, вежливые, предупредительные, но с цепкими, ничего не упускающими глазами, которые, казалось, видели каждого насквозь, знали о тебе всё: твои привычки, твои слабости, твои тайные страхи. Андрей прошёл через турникет, приложив пропуск к считывателю, и направился к лифтам, стараясь не смотреть по сторонам — не потому, что боялся, а потому, что в последнее время это место вызывало у него глухое, непонятное раздражение, почти физическое отторжение, которому он сам не мог найти объяснения.

В кабине лифта, отделанной зеркалами и нержавеющей сталью, он мельком взглянул на своё отражение и остался недоволен. Мешки под глазами, нездоровая бледность, какая-то серая, землистая кожа, словно он не спал неделю, хотя спал — или, вернее, лежал без сна, глядя в потолок и думая о чём-то, что не мог сформулировать словами. В последнее время он плохо засыпал, а когда засыпал — видел странные, тревожные сны, которые не запоминал, но после которых просыпался с ощущением, что случилось что-то непоправимое. Мысли, которые он гнал от себя днём, зарываясь в работу, возвращались по ночам и не давали покоя, как назойливые мухи, от которых не отмахнуться.

Офис «Института цифрового развития» занимал три этажа — с пятидесятого по пятьдесят второй, — и каждый из них был выдержан в едином, безупречно продуманном стиле, который должен был символизировать чистоту, прозрачность, технологичность. Стены, потолки, мебель, даже полы — всё было белым или светло-серым, без единого яркого пятна, без единой лишней детали. Никаких картин, никаких растений в горшках, никаких личных вещей на столах — фотографий, сувениров, кружек с дурацкими надписями, которые обычно заводятся у людей, проводящих на работе большую часть жизни. Только мониторы, клавиатуры, системные блоки да бесконечные ряды серверных стоек за стеклянными перегородками, гудящие ровно, монотонно, как гигантский улей, в котором трудятся невидимые пчёлы. Здесь не было места человеческому — только функциональному. Человек здесь был не личностью, а оператором, винтиком, частью системы. И система эта работала без сбоев.

Вместо алтаря — огромный экран во всю стену в центральном зале, на котором в режиме реального времени пульсировала карта пилотных регионов. Цветные точки — красные, зелёные, серые — обозначали граждан. Красные — неблагонадёжные, те, кто уже попал в поле зрения системы и чей социальный рейтинг неуклонно падал. Зелёные — лояльные, те, кто исправно платил налоги, голосовал как надо, не писал крамольных постов в соцсетях и вообще не высовывался. Серые — мёртвые. В прямом смысле: система учитывала и умерших, чтобы исключить их из расчётов, очистить статистику, сделать картину более «оптимистичной». Андрей иногда смотрел на эти серые точки и думал: а что, если бы система могла видеть не только физическую смерть, но и смерть души? Сколько бы тогда было серых точек? Полстраны? Больше? Пока что всё это было лишь тестовым контуром, обкаткой технологии в

нескольких регионах. Но он уже знал: через год-два закон примут, и тогда цветными точками покроется вся страна. От Калининграда до Камчатки.

Он сел за свой стол, включил компьютер и уставился в монитор. На экране высветились задачи на сегодня: доработка модуля «Лояльность», оптимизация алгоритма штрафных баллов, тестирование интеграции с базами данных МВД и ФНС, подготовка отчёта для начальства. Обычная рутина, к которой он давно привык и которую выполнял на автомате, не задумываясь. Но сегодня что-то было не так. Сегодня каждое действие — каждая строчка кода, каждая цифра в отчёте — вызывало у него глухое, тошнотворное чувство, словно он делал что-то постыдное, грязное, непоправимое. Он гнал от себя эти мысли, убеждал себя, что это просто усталость, просто недосып, просто весенний авитаминоз. Но где-то глубоко внутри, там, куда он сам боялся заглядывать, он уже знал правду. Просто не хотел её признавать.

В восемь ноль-ноль из стеклянного кабинета, расположенного в углу офиса, вышел Иосиф Аркадьевич Грабов — начальник отдела алгоритмов социального скоринга. Лет пятьдесят, лысеющий, с брюшком, которое не могли скрыть даже дорогие костюмы от Brioni, сшитые на заказ и стоившие, наверное, больше, чем Андрей зарабатывал за полгода. На руке — часы Hublot за три миллиона рублей, на пальце — массивный золотой перстень с каким-то тёмным камнем, то ли агатом, то ли ониксом, который он постоянно крутил, когда нервничал или, наоборот, был особенно доволен собой. Грабов пришёл в «Институт» два года назад, до этого руководил каким-то PR-агентством, которое занималось «репутационным менеджментом» для крупных чиновников и олигархов. В алгоритмах, в программировании, в математике он не понимал ровно ничего, но обладал двумя бесценными для такой работы качествами: умел нравиться начальству, говорить то, что от него хотели слышать, и безжалостно выжимать результаты из подчинённых, не задумываясь о том, какой ценой эти результаты достаются.

— Ильин! — рявкнул он, не здороваясь, и его голос, резкий, начальственный, разнёсся по всему офису, заставляя сотрудников вжимать головы в плечи. — Зайди.

Андрей поднялся и пошёл в кабинет начальника, чувствуя, как внутри всё сжимается от нехорошего предчувствия. Кабинет Грабова, в отличие от общего офиса, был обставлен с вызывающей, почти кричащей роскошью, словно хозяин хотел доказать всем — и себе в первую очередь, — что он здесь главный, что он достиг успеха, что он имеет право. Кожаное кресло, стол из красного дерева, мини-бар с дорогим алкоголем, плазма на стене, показывающая те же самые графики, что и на общем экране, но в более «презентабельном» виде. На стене — дипломы, сертификаты, благодарственные письма от разных ведомств и организаций, названия которых ничего не говорили, но выглядели внушительно.

— Садись, — Грабов кивнул на стул для посетителей — жёсткий, неудобный, явно рассчитанный на то, чтобы визитёр чувствовал себя неуютно, не засиживался, понимал своё место. — Разговор есть. Серьёзный.

Андрей сел, стараясь держать спину прямо и не показывать волнения.

— Проект «Социальный рейтинг», — начал Грабов, понизив голос и наклонившись вперёд, словно собирался сообщить нечто совершенно секретное, хотя о проекте знали все, кто работал в «Институте». — Гриф «Совершенно секретно». Ты в курсе, что мы внедряем пилот еще в трёх регионах со следующего года?

— В курсе, Иосиф Аркадьевич.

— А ты в курсе, что к тридцатому году мы должны охватить всю страну? Всех — от младенцев до стариков. Каждый гражданин России должен быть в системе. Каждый.

Андрей кивнул. Он знал. Он сам писал дорожную карту, сам просчитывал сроки, сам убеждал себя, что это просто работа, просто техническая задача, не хуже и не лучше других.

— Так вот, — Грабов ткнул пальцем в монитор, на котором высветилась какая-то схема, — у нас проблема. Система работает хорошо на больших данных, на миллионах, на усреднённых показателях. Но она плохо работает на индивидуальных случаях. Не учитывает нюансы.

Например, человек не платит алименты — минус баллы. Это правильно, это справедливо, никто не спорит. Но что, если он не платит не потому, что он подлец и мерзавец, а потому что потерял работу, стоит на бирже труда, сам голодает и не может найти ни копейки? Система этого не видит. Она видит только факт: алименты не уплачены. И штрафует. Понимаешь, к чему это ведёт?

— Понимаю, — медленно сказал Андрей. — Невиновные будут наказаны наравне с виновными. Или даже строже.

— Именно! — Грабов хлопнул ладонью по столу, и его лицо расплылось в довольной улыбке, словно он только что решил сложнейшую математическую задачу. — А нам это не нужно. Нам нужна справедливость. Настоящая, цифровая, неотвратимая. Чтобы каждый получил по заслугам. Чтобы хорошие люди жили хорошо, а плохие — плохо. Или вообще не жили.

Он выдержал паузу, наслаждаясь эффектом, и добавил, понизив голос почти до шёпота:

— Это надо доработать. Нужно интегрировать базы данных службы занятости, учитывать статус, историю, причины неуплаты. Сделать систему более... гибкой. Более человечной, если хочешь. Ты сможешь?

— Смогу, — ответил Андрей, хотя внутри у него всё похолодело. — Нужно время. Месяц, может, два.

— У тебя месяц, — отрезал Грабов. — Через месяц я должен показать результат наверх. И ещё, — он снова понизил голос, и его глаза, маленькие, заплывшие, вдруг стали острыми, колючими, как у хорька, почуявшего добычу. — Самое главное. Рейтинг должен быть привязан к чипу. Не к QR-коду, не к приложению в телефоне, не к бумажному сертификату — к чипу под кожей. Понимаешь? Добровольно-принудительно. Сначала — для удобства: скидки, приоритеты, быстрые выплаты. Люди любят удобство, люди любят, когда им дают что-то бесплатно. А потом — обязательно. Для всех. Без чипа — ни покупок, ни денег, ни проезда, ни медицинской помощи, ни образования, ни работы. Ничего. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал Андрей, и ему показалось, что его собственный голос доносится откуда-то издалека, из-за толстой стеклянной стены.

— А те, кто откажутся? — спросил он, уже зная ответ, но всё ещё надеясь, что ошибается.

Грабов пожал плечами — небрежно, как будто речь шла о чём-то незначительном, о переводе сотрудника в другой отдел или о списании старой техники.

— Будут жить в резервациях. Сами по себе. Без государства, без поддержки, без медицины, без образования, без будущего. Естественная убыль, сам понимаешь. Кто выживет — тот выживет. Кто нет — значит, такова судьба. Естественный отбор. Эволюция.

Он протянул Андрею флешку — маленькую, чёрную, блестящую, с логотипом «Института».

— Здесь техническое задание. Алгоритм штрафных баллов, критерии понижения рейтинга, пороговые значения для перевода в категорию D. Изучи. Через месяц сдашь готовый модуль. И помни, Ильин: от твоей работы зависит будущее страны. Может, всего мира. Не подведи.

Андрей взял флешку. Она была лёгкой, почти невесомой, но в руке ощущалась тяжёлой, как свинцовая гирька, как груз, который он сам на себя взвалил и который теперь будет нести до конца своих дней. Он вышел из кабинета, чувствуя, как внутри всё сжимается, скручивается в тугой, болезненный узел. Он не мог понять, что именно его так мучает. Ведь он действительно делал полезную работу — помогал создать справедливую, эффективную систему, которая накажет виновных и защитит невиновных. Разве не об этом мечтают все честные люди? Разве не этого хочет общество?

Но где-то глубоко внутри, там, куда он сам боялся заглядывать, уже звучал другой голос — тихий, настойчивый, неотвязный. ««Ты знаешь», — говорил этот голос. — Ты всё знаешь. Ты просто не хочешь признавать. Эта система — не для справедливости. Она для контроля.

Для порабощения. Для того, чтобы разделить людей на касты, на сорта, на „достойных“ и „недостойных“. И ты помогаешь её строить. Ты — соучастник. Ты — предатель. Не хуже Извольского, не хуже Грабова, не хуже тех, кто сидит в Женеве и решает судьбы миллиардов. Просто ты делаешь это не в кабинете с видом на озеро, а здесь, за монитором, строчка за строчкой, цифра за цифрой. Но суть от этого не меняется».

Он отогнал эти мысли, сел за стол, открыл файлы на флешке и погрузился в работу. Руки делали своё дело — писали код, отлаживали функции, тестировали интеграции, — а мысли текли отдельно, как два параллельных потока, которые никогда не пересекаются, но текут в одном русле.

«Если субъект отсутствовал на рабочем месте более тридцати дней без уважительной причины — минус десять баллов».

«Если субъект посещал интернет-ресурсы из списка экстремистских — минус пятнадцать баллов».

«Если субъект участвовал в несанкционированном публичном мероприятии — минус двадцать пять баллов».

«Если субъект отказался от цифрового кода — минус пятьдесят баллов и автоматический перевод в категорию D».

Руки писали. Пальцы стучали по клавиатуре, и ритм этот был ровным, механическим, как у метронома, отсчитывающего время до катастрофы. Код выстраивался в стройные, логичные конструкции, и Андрей, глядя на него, не мог не признать: он был хорошим программистом. Очень хорошим. Именно поэтому его и взяли в «Институт», именно поэтому ему доверяли самые сложные задачи. Он делал свою работу блестяще. И от этого было ещё страшнее.

В обед он спустился в кафетерий на сороковом этаже — просторное, светлое помещение с панорамными окнами, из которых открывался вид на Москву, бескрайнюю, хаотичную, живую. Взял поднос с едой — куриная грудка, салат из свежих овощей, минеральная вода, — сел за столик у окна и стал смотреть на город, не чувствуя вкуса еды, не замечая, что ест. За окном расстилалась Москва — огромная, дышащая, пульсирующая, со своими пробками, стройками, спешащими людьми, с золотыми куполами храмов, с серыми коробками спальных районов, с вечным движением, которое не останавливается ни на минуту. Андрей смотрел на этот город и думал о том, что скоро всё изменится. Что система, которую он помогает создавать, превратит эту живую, дышащую, хаотичную Москву в стерильный, просчитанный, контролируемый муравейник, где каждый будет знать своё место, где каждый будет под колпаком, где не останется ни свободы, ни тайны, ни надежды.

Он вспомнил бабушку. Она жила в деревне под Калугой — в глухой, затерянной среди лесов и болот, куда даже асфальтовая дорога не доходила. Маленький деревянный дом с печным отоплением, огород, куры, соседки, с которыми она вечерами пела старинные песни, и вера — простая, бесхитростная, но крепкая, как вековой дуб, который нипочём не сломать никаким ветрам. Она ходила в церковь каждое воскресенье — за десять километров пешком, потому что автобус туда не ходил, — исповедовалась, причащалась, постилась, молилась. Она не знала, что такое «социальный рейтинг», не понимала, зачем нужен чип под кожей, не читала новостей о «цифровом будущем». Она просто жила так, как жили её предки, — трудилась, молилась, любила, прощала. И была счастлива. По-настоящему, не показушно.

По системе, которую Андрей сейчас отлаживал, его бабушка была категорией D. Балласт. Подлежащий утилизации. Потому что пенсия маленькая — минус баллы. Потому что не пользуется банковской картой — минус баллы. Потому что не сидит в соцсетях и не лайкает посты власти — минус баллы. Потому что ходит в церковь, которая ещё не внесена в список «лояльных» и «одобренных», — минус баллы. И таких, как она, — миллионы. И все они, по плану, который Андрей видел своими глазами, должны исчезнуть. Не физически — по крайней мере, не сразу. Сначала — духовно, через деморализацию, через нищету, через отчаяние. Потом —

социально, через изоляцию в резервациях. А потом — и физически, когда их лишат медицинской помощи, продовольствия, тепла. Естественная убыль. Эволюция. Выживает сильнейший.

Андрей отодвинул поднос. Есть расхотелось.

Вечером, когда коллеги разошлись — кто домой, к семьям, кто в бары, снимать стресс после тяжёлого дня, — он задержался в офисе. Сказал, что нужно доделать срочную задачу, но на самом деле просто хотел остаться один, чтобы никто не мешал думать. Он сидел за своим столом, смотрел на погасший монитор и пытался понять, что ему делать дальше. Продолжать притворяться, что ничего не происходит? Ходить на работу, писать код, получать зарплату, жить в съёмной квартире, встречаться с друзьями, пить пиво по пятницам и делать вид, что он — обычный человек, который просто делает свою работу? Или...

Что «или»? Уйти? Но куда? Кому он нужен со своим кодом, со своими сомнениями, со своей совестью, которая вдруг проснулась и теперь не даёт покоя? Кто его услышит? Кто поверит? Его просто высмеют — или, хуже, объявят сумасшедшим, экстремистом, врагом прогресса. Исчезнет в подвалах Лубянки — и никто никогда не узнает, что с ним стало.

Он встал, подошёл к принтеру, чтобы забрать распечатанные документы, и вдруг заметил на столе рядом с принтером папку. Толстую, в чёрной обложке, с грифом «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО», выведенным крупными красными буквами. Чужая. Кто-то забыл, уходя домой, — может, Грабов, может, кто-то из его замов, может, курьер из другого отдела. Андрей знал, что не должен её трогать. Знал, что за это могут уволить с волчьим билетом, а то и посадить — за разглашение государственной тайны. Но рука сама потянулась, словно помимо его воли, словно кто-то невидимый направлял её.

Он открыл папку. Внутри лежал документ — страниц сто, не меньше, — отпечатанный на плотной бумаге, с водяными знаками, с голограммами, с какими-то сложными схемами и диаграммами. На первой странице значилось: «ПРОЕКТ S-300. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ. ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА».

Андрей начал читать, и мир вокруг перестал существовать. Исчез офис, исчезла Москва за окном, исчезло время. Остались только слова — сухие, канцелярские, безжалостные, — которые складывались в картину, от которой кровь стыла в жилах.

«Цель — сокращение населения планеты до одного миллиарда человек (так называемый „Золотой миллиард“). Методы достижения: управляемый хаос, локальные конфликты, биологическое регулирование, цифровой контроль».

«Раздел 1. Управляемые конфликты. Инициирование этнических и религиозных столкновений в стратегически важных регионах. Поддержка сепаратистских движений в Российской Федерации. Финансирование и вооружение антиправительственных сил».

«Раздел 2. Биологическое регулирование. Контроль рождаемости через программы вакцинации. Выборочные эпидемии в регионах с избыточным, по оценкам Совета, населением. Снижение иммунитета через внесение в продукты питания и воду специальных добавок».

«Раздел 3. Цифровой контроль. Внедрение системы социального рейтинга во всех странах-участницах. Классификация населения по категориям: A (10%) — элита, B (30%) — обслуживающий персонал, C (40%) — биомасса, D (20%) — балласт, подлежащий утилизации».

«Раздел 4. Санитарные кордоны. Создание резерваций для лиц с низким социальным рейтингом. Прекращение поставок продовольствия и медикаментов. Обеспечение естественной убыли населения темпами не менее 15% в год».

Внизу стояли подписи. Члены Координационного совета — те самые люди, которых он никогда не видел, но о которых догадывался. Представители «Атласа», крупнейших банков, IT-корпораций, правительств. И среди них — представители России. Люди, которым он, Андрей, помогал строить систему, не зная, для чего она на самом деле предназначена.

И последняя фраза, выведенная жирным шрифтом: «Возражения не принимаются. История оправдает».

Андрей стоял, сжимая папку дрожащими руками, и чувствовал, как внутри всё рушится. Не мир — он сам. Его представления о себе, о своей работе, о своей стране, о добре и зле. Всё, во что он верил — или делал вид, что верит, — оказалось ложью. Он был не просто программистом, не просто винтиком. Он был соучастником. Он помогал строить машину, которая должна была уничтожить миллионы людей. Его бабушку. Его соседей. Его народ.

Он аккуратно положил папку на место, закрыл её, разгладил обложку, словно это могло что-то исправить. Вышел из офиса, не помня, как добрался до лифта, как спустился в вестибюль, как прошёл мимо охраны. Очнулся только на улице, под холодным мартовским дождём, который хлестал по лицу, смешиваясь со слезами.

Ночь. Москва горела огнями. Башни Сити светились, как новогодние ёлки, — красные, синие, зелёные, золотые. Красиво. И страшно. Андрей брёл по Краснопресненской набережной, не разбирая дороги, не чувствуя холода, не замечая редких прохожих, которые шарахались от него, как от сумасшедшего. Мысли крутились в голове, как заезженная пластинка, которую невозможно остановить.

«Это просто работа. Я пишу код. Я не убиваю людей своими руками. Если не я, то найдётся другой. От моего ухода ничего не изменится. Систему построят и без меня».

Но внутри звучал другой голос. Тихий, настойчивый, неотвязный. Тот самый, который он слышал уже несколько месяцев, но всегда отгонял, зарываясь в работу.

«Ты знаешь. Ты не можешь делать вид, что не знаешь. Ты соучастник. Ты помогаешь строить систему, которая убьёт миллионы. Твою бабушку. Твоих соседей. Твой народ. Ты можешь уйти, можешь отказаться, можешь попытаться остановить это. Да, шансов мало. Да, тебя, скорее всего, убьют. Но ты хотя бы попытаешься. А если останешься — что будет с твоей душой?»

Душа. Андрей давно не думал о душе. Он вырос в обычной советской семье, где о Боге если и говорили, то как о чём-то не реальном, выдуманном. В институте увлёкся программированием, потом — работа, карьера, деньги. Некогда было думать о «высоком». Да и незачем — мир казался понятным, логичным, управляемым. Бог? Какой Бог? Есть только код, алгоритмы, большие данные. Всё остальное — суеверия, сказки для невежественных старух.

Но сейчас он чувствовал: душа есть. И она болит. Болит так, как не болело никогда ни одно тело. Словно кто-то невидимый сжимает её в кулаке, медленно, мучительно, не давая вздохнуть.

Он сел на скамейку в каком-то сквере, названия которого не знал, достал телефон. Машинально пролистал ленту новостей. Наткнулся на пост популярного блогера — того самого, у которого миллионы подписчиков и который каждый день вещал о «светлом цифровом будущем». «Цифровизация — это благо! Кто против — тот враг народа и мракобес, цепляющийся за отжившие предрассудки!»

Под постом — тысячи лайков. Комментарии: «Правильно! Заставьте их чипироваться!», «Надоели эти попы с их пророчествами!», «В Европе давно уже всё цифровое, а мы как всегда отстаём, как всегда в грязи и нищете!», «Давно пора навести порядок железной рукой!».

Андрей читал эти комментарии и чувствовал, как внутри поднимается волна отчаяния. Они не понимают. Они не хотят понимать. Им удобно верить, что чип — это просто удобство, что социальный рейтинг — это просто справедливость, что резервации — выдумка конспирологов. Так проще. Так спокойнее. А когда они поймут — будет поздно. Система уже замкнётся, и выхода не останется.

Он убрал телефон, поднял глаза к небу. Небо было затянуто облаками — ни одной звезды, только отражённый свет мегаполиса, оранжевый, тревожный, неестественный. И вдруг,

сам не зная почему, он прошептал слова, которые не произносил с детства, с тех пор, как бабушка водила его в маленькую деревянную церковь и учила молиться:

— Господи... если Ты есть... что мне делать?

Тишина. Только ветер с реки да далёкий гул машин. Но вдруг в этой тишине он услышал ответ. Не голос — знание. Словно кто-то вложил ему в сердце слова, которых он никогда не знал, но сразу узнал, как узнают родной язык после долгих лет на чужбине.

«Ищи правду. И правда сделает тебя свободным».

Он не понял, откуда это. Может, из детства, из бабушкиных рассказов. Может, из какой-то книги, которую он читал давным-давно и забыл. Может, оттуда, где нет ни времени, ни пространства, а есть только истина. Но слова засели в нём, как заноза, и уже не отпускали. Ищи правду. И правда сделает тебя свободным.

Андрей встал со скамейки и пошёл — не домой, не в офис, а куда-то в ночь, сам не зная куда. Он ещё не знал, что будет делать. Но уже понимал: прежняя жизнь кончилась. Начинается что-то новое. Страшное. Но настоящее.

Прошло две недели. Андрей уволился из «Института» — написал заявление по собственному желанию, не объясняя причин, не отвечая на вопросы. Грабов пытался его удержать, сулил повышение, премию, отдельный кабинет, но Андрей был непреклонен. Он забрал трудовую книжку, получил расчёт и вышел из стеклянных дверей башни «Меркурий» с чувством, которое сам не мог определить: не радость, не облегчение, а скорее пустота. Словно он вырвал из себя что-то важное, без чего теперь предстояло учиться жить заново.

Он снял другую квартиру — более дешёвую, на самой окраине, в районе, который даже таксисты находили не с первого раза. Оплатил на три месяца вперёд наличными, снятыми с разных банкоматов в разных концах города — мера предосторожности, о которой он вычитал на каких-то подпольных форумах. Купил новый ноутбук, новый телефон, новые сим-карты. Начал жизнь с чистого листа. Или, вернее, с чёрного — потому что чистого в этой жизни уже ничего не осталось.

Он пытался найти тех, кто сопротивлялся. Не просто недовольных, не просто болтунов на кухне, а настоящих, действующих, готовых рисковать. Это оказалось невероятно трудно. Подполье умело прятаться — но оно существовало, Андрей это чувствовал, но найти его с улицы, без связей, без рекомендаций, было почти невозможно. Он перерыл десятки форумов, чатов, каналов, но натыкался либо на провокаторов, либо на сумасшедших, либо на пустые разговоры. Отчаяние накатывало волнами, и каждый раз, когда он был готов сдаться, внутри звучал тот самый голос: «Ищи правду. И правда сделает тебя свободным».

Однажды вечером, когда он сидел в дешёвой забегаловке на окраине, пил горький, пережжённый кофе и смотрел в одну точку, к нему подсел человек. Неприметный — среднего роста, среднего возраста, в потёртой куртке, с лицом, которое не запоминается. Андрей сначала даже не обратил на него внимания — мало ли кто садится за соседний столик? Но человек заговорил — тихо, не глядя на него, словно обращаясь к самому себе:

— Андрей Ильин? Бывший ведущий разработчик «Института цифрового развития». Уволился два месяца назад. С тех пор живёте по поддельному адресу, пользуетесь одноразовыми сим-картами, ищете выходы на подполье. Правильно?

Андрей вздрогнул, хотел вскочить, убежать, но человек удержал его за руку — крепко, но не грубо.

— Не бойтесь. Я от отца Николая. Из Оптиной пустыни. Старец Илий просил передать: вам нужны соратники. Они у вас будут. Если вы действительно готовы.

Андрей смотрел на него, не веря своим ушам. Старец Илий. Тот самый, о котором он читал на подпольных форумах, которого называли пророком, которому приписывали чудеса и видения. Тот самый, чьё имя Грабов произносил с суеверным страхом, а потом отмахивался:

«Сумасшедший старик, сектант, маргинал». И вот — этот старец знал о нём. Знал его имя, его историю, его поиски. И прислал человека.

«— Я готов», — сказал Андрей, и голос его дрогнул. — Я не знаю, что делать, не знаю, с чего начать. Но я готов.

Человек кивнул, положил на стол сложенный вчетверо листок и встал.

— Завтра. В семь вечера. Придёте по этому адресу. Вас встретят. И помните: назад дороги не будет.

Он ушёл, не прощаясь, растворился в вечерних сумерках, как будто его и не было. Андрей развернул листок. На нём — адрес в каком-то районе Москвы, о котором он слышал, но никогда там не был, и одно слово, написанное от руки, неровным, старческим почерком: «С Богом».

Он смотрел на это слово и чувствовал, как внутри что-то разжимается. Страх не ушёл. Сомнения не исчезли. Но появилось что-то ещё. Что-то, похожее на надежду. На ту самую, о которой говорила бабушка: «Господь не оставит. Он ждёт. Он слышит. Только не отворачивайся».

Андрей не отворачивался. Он сделал шаг — первый шаг в новую жизнь, из которой, возможно, не будет возврата. Но другого пути он уже не видел.

А где-то далеко, в Оптиной пустыни, в маленькой келье, пахнущей сухими травами и ладаном, старец Илий, не разгибаясь, стоял на коленях и молился. Он знал имя этого молодого человека из Москвы, но не видел его лица, не слышал его голоса. Но он чувствовал: ещё одна душа сделала выбор. Ещё один огонёк зажёгся во тьме. Ещё один воин встал в строй невидимой брани.

И это было только начало.

Глава 4. Наследник

Швейцарские Альпы, северный склон, высота тысяча двести метров над уровнем моря. Место, которого нет ни на одной общедоступной карте — спутниковые снимки этого квадрата были отредактированы так тщательно, что даже военные аналитики ведущих держав, располагающие самыми современными средствами наблюдения, видели здесь лишь густой лес, изрезанный горными ручьями и каменистыми осыпями. Ни дорог, ни строений, ни следов человеческой деятельности — только дикая, нетронутая природа, какой она была тысячи лет назад. Ложь, разумеется. Но ложь, выполненная с таким мастерством и с такими затратами, что раскрыть её не мог никто.

На самом деле здесь, в долине, зажатой между двумя скальными хребтами и укрытой от посторонних глаз вековыми елями, раскинулся комплекс зданий, построенный в девяностых годах на деньги консорциума «Атлас» — той самой структуры, которая, в узких кругах посвящённых, всё ещё называлась «Комитетом трёхсот», хотя официально это название давно не использовалось, уступив место более нейтральным, корпоративным формулировкам. Архитектура комплекса напоминала альпийское шале — деревянные фасады, покатые крыши, балконы с резными перилами, — но это был лишь камуфляж, искусная маскировка, рассчитанная на случайный взгляд с большого расстояния. За деревянными панелями скрывались бетонные стены метровой толщины, способные выдержать прямое попадание авиабомбы. Окна — бронированные, с зеркальным напылением, не пропускающим взгляд снаружи. Под землёй — три этажа бункеров, лабораторий, серверных, соединённых между собой тоннелями и оборудованных автономными системами жизнеобеспечения, рассчитанными на десять лет полной изоляции от внешнего мира. Охрана — бывшие сотрудники израильского Моссада, британской SAS, американской Delta Force, французского Иностранного легиона. Люди без прошлого, без семей, без привязанностей, прошедшие строжайший отбор и подписавшие контракты, которые

не предусматривали ни увольнения, ни пенсии, ни возвращения к нормальной жизни. Идеальные церберы. Идеальные тюремщики.

Здесь, в полной изоляции от внешнего мира, под круглосуточным наблюдением лучших педагогов, психологов, лингвистов, специалистов по нейролингвистическому программированию, генетиков и врачей, уже тридцать три года жил человек, у которого не было имени. Только оперативный псевдоним — Аполлион. Для сотрудников комплекса — просто «Объект». Для узкого круга посвящённых в «Атласе» — «Наследник». Для остального мира — никто. Пока никто.

Его история началась задолго до рождения, в те времена, когда «Атлас» только формировался как глобальная структура, способная влиять на все сферы человеческой деятельности — от финансов и политики до религии и культуры. Уже тогда, в начале девяностых, когда рушились старые империи и перекраивались границы, отцы-основатели понимали: одного экономического и политического контроля недостаточно. Людьми нельзя управлять только через страх и деньги — по крайней мере, не на том уровне, который они задумали. Людям нужен бог. Не абстрактный, не трансцендентный, не Тот, о Ком проповедуют в храмах и церквях, а зримый, осязаемый, говорящий на их языке, понимающий их нужды, творящий чудеса. Идол. Кумир. Антихрист — если называть вещи своими именами, хотя в «Атласе» предпочитали более нейтральную терминологию: «Проект „Tabula Rasa“», «Чистая доска».

Генетический материал отбирали годами, с той же тщательностью, с какой селекционеры выводят новую породу лошадей или собак, — только ставки были неизмеримо выше. Донорами стали мужчина из древнего аристократического рода, чья родословная прослеживалась до Карла Великого и дальше, в самую глубь европейской истории, и женщина с документально подтвержденными экстрасенсорными способностями, прошедшая через десятки тестов в закрытых лабораториях. Их имена были засекречены так же тщательно, как имена создателей атомной бомбы или разработчиков первых биологических штаммов. Оплодотворение провели в лабораторных условиях, эмбрион прошёл множественную генетическую коррекцию — убраны «дефектные» участки, отвечающие за эмпатию, страх, сомнение, совесть, способность к привязанности и любви. Усилены когнитивные способности, харизма, интуиция, способность к манипуляции, выносливость, регенерация тканей. Получилось существо, которое формально принадлежало к человеческому роду, но по сути было чем-то иным — не человеком в полном смысле слова, а инструментом, биологической машиной, созданной для одной-единственной цели: править миром от имени «Атласа».

Суррогатная мать — здоровая, психологически устойчивая женщина, подписавшая контракт о неразглашении ценой в несколько миллионов долларов и получившая новую личность где-то в Южной Америке, — выносила ребёнка в закрытой клинике в Цуге, под постоянным наблюдением врачей. Роды прошли без осложнений. Сразу после рождения его забрали у матери, и она больше никогда его не видела. Ходили слухи, что через несколько лет она покончила с собой — не выдержала груза тайны и чувства вины. Другие утверждали, что ей «помогли», чтобы исключить малейшую возможность утечки информации. Третьи — что она до сих пор жива, но под такой глубокой легендой, что найти её невозможно. В «Атласе» не оставляли следов. Вообще.

Ребёнка перевезли в «Санкт-Галлен» — так официально назывался комплекс в Альпах, хотя название это, разумеется, было фиктивным, как и всё здесь. В стерильных условиях, под круглосуточным наблюдением, он рос и развивался, не зная, что такое детство в обычном понимании. У него не было игрушек — только обучающие материалы. Не было друзей — только педагоги и наблюдатели. Не было родителей — только создатели, которых он видел через зеркальные стёкла и которые никогда не вступали с ним в прямой контакт. Тренировки, обучение, моделирование ситуаций, бесконечные тесты — день за днём, год за годом, без выходных, без каникул, без малейшей передышки. Он не знал, что бывает иначе. Он не знал, что такое

любовь, ласка, сострадание, жалость — эти понятия были вычеркнуты из его лексикона, из его генетического кода, из самой его сути. Он видел людей как объекты, как шахматные фигуры, которые можно двигать по доске, не задумываясь об их чувствах. Он не испытывал угрызений совести, потому что не знал, что это такое. Он не боялся смерти — ни своей, ни чужой. Он был идеальным инструментом. Идеальным лидером для нового мира.

К пяти годам он говорил на четырёх языках — немецком, английском, французском, итальянском, — причём на каждом без малейшего акцента, как на родном. К десяти — на десяти, включая мёртвые: латынь, древнегреческий, санскрит, церковнославянский. Он читал Гомера в оригинале и Цицерона, Августина и Фому Аквинского, Коран и Тору, Веды и Упанишады, труды отцов Церкви и классиков мировой философии. Он мог цитировать Платона и Ницше, Будду и Мухаммеда, Маркса и Адама Смита, причём так, что каждому слушателю казалось: этот человек говорит именно то, что он, слушатель, всегда думал, но не мог выразить словами. Он понимал психологию масс лучше, чем любой политтехнолог, любой пропагандист, любой священник. Он умел вызывать доверие, симпатию, восхищение — причём у людей с самыми разными взглядами, ценностями, убеждениями. Он мог заставить человека поверить во что угодно. Потому что сам не верил ни во что.

Томас Келлер, куратор проекта со стороны «Атласа», наблюдал за его развитием через скрытые камеры и иногда испытывал что-то похожее на гордость. Или на страх. Он и сам не мог бы сказать точно. Он видел, как растёт и совершенствуется его творение, — и понимал, что однажды оно выйдет из-под контроля. Что инструмент, созданный для управления миром, в конце концов начнёт управлять своими создателями. Что зверь, вскормленный в клетке, однажды сломает прутья. Но Келлер был профессионалом. Он умел отодвигать эти мысли на задний план, в ту часть сознания, которую сам называл «архивом нерелевантных данных». Сейчас было не время для сомнений. Сейчас было время действовать.

Объекту исполнилось тридцать три года. Возраст Христа — ещё одна символическая деталь, тщательно продуманная создателями. Возраст, идеальный для выхода на сцену: уже не юноша, вызывающий снисходительную улыбку, но ещё и не старик, от которого веет немощью и угасанием. Возраст зрелости, силы, уверенности. Он сидел в своей комнате — просторной, минималистично обставленной, с панорамным окном, выходящим на заснеженные альпийские вершины, — и ждал. Он умел ждать. Этому его тоже научили.

Внешне он был безупречен. Высокий, стройный, с правильными чертами лица, которые можно было бы назвать арийскими, если бы не лёгкая смуглота кожи, доставшаяся от матери, и тёмные, волнистые волосы, ниспадающие на плечи. Глаза — серо-зелёные, с золотистыми крапинками, которые, казалось, светились в полумраке, меняя оттенок в зависимости от освещения и настроения. Улыбка — тёплая, располагающая, отработанная перед зеркалом тысячами повторений до той степени совершенства, когда искусственное становится неотличимым от естественного. Голос — мягкий, обволакивающий, с лёгким акцентом, который невозможно было идентифицировать, но который звучал приятно для уха человека любой национальности. Он был одет в простой серый свитер и чёрные брюки — никакой роскоши, никаких знаков статуса, никаких украшений. Он знал: настоящая власть не нуждается в атрибутах. Настоящая власть — в умении управлять умами. А этому он был обучен в совершенстве.

В комнату без стука вошёл Келлер. Он позволял себе это только с Объектом — со всеми остальными держался подчёркнуто официально, соблюдая субординацию и протокол. Но здесь, в «Санкт-Галлене», он чувствовал себя почти отцом. Опасная иллюзия, как он сам понимал. Объект не нуждался в отце. Он вообще ни в ком не нуждался. Он был самодостаточен, как хищник, как машина, как бог.

— Пора, — сказал Келлер, садясь в кресло напротив и разворачивая на столе голографический экран. — Ситуация в мире созрела. Ты готовился к этому всю жизнь. Теперь пришло время выйти на сцену.

Аполлион — теперь его следовало называть именно так, публичное имя уже утвердили — посмотрел на Келлера и улыбнулся. Улыбка вышла тёплой, почти детской, и в ней не было ни тени волнения, ни капли сомнения. Только холодная, ясная уверенность.

— Я готов с рождения, — ответил он, и голос его звучал ровно, спокойно, как у человека, который знает ответы на все вопросы ещё до того, как они заданы. — Вопрос в том, готова ли сцена.

Келлер развернул голографическую карту мира, и на ней засветились сотни точек — города, где уже были созданы ячейки «Атласа», где ждали сигнала, где были подготовлены площадки для «чудес».

— Сцена готова. Мы работали над этим десятилетиями. Войны, кризисы, пандемии, цифровизация — всё это было лишь подготовкой. Люди устали. Люди напуганы. Люди не верят больше ни правительствам, ни церквям, ни идеологиям. Они хотят простых ответов на сложные вопросы. Они хотят сильной руки, которая наведёт порядок. Они хотят бога, которого можно увидеть и потрогать. Ты станешь для них таким богом.

Аполлион встал, подошёл к окну. За окном садилось солнце, окрашивая альпийские вершины в розовый цвет, и этот пейзаж, безупречно красивый, вызывал у него только одно чувство — скуку. Он видел его тысячи раз. Он знал каждый изгиб каждого склона, каждое дерево, каждый камень. Он устал от этой красоты, как устают от надоевшей картины на стене. Ему нужен был мир. Весь. Целиком.

«— Расскажи мне о России», — сказал он, не оборачиваясь. — Это единственная страна, которая меня беспокоит. Все остальные — материал. Пластилин. С ними не будет проблем. А Россия... Я читал их пророчества. Я знаю, чего они ждут. Царя-Удерживающего. Последнего оплота перед концом. Это опасно. Ожидания могут создать реальность.

Келлер поморщился. Россия действительно была проблемой — не столько военной или экономической, сколько духовной. Там, в этой огромной, нелепой, противоречивой стране, всё ещё жила вера. Не формальная, не обрядовая, не та, которую можно купить или запугать, а настоящая — та, что передаётся от бабушки к внуку, от старца к послушнику, от мученика к его палачу. Та, что стоит на коленях по ночам в убогих квартирках и монастырских кельях. Та, что не боится ни смерти, ни боли, ни самой тьмы. И пока эта вера жива — «Атлас» не может победить окончательно.

— Россия будет последней, — ответил Келлер. — Сначала — весь остальной мир. Европа, Азия, Америка, Африка. Когда они увидят твои чудеса, когда примут печать, когда склонятся перед тобой как перед богом, — Россия окажется в изоляции. Одна, против всего мира. И тогда у них не останется выбора. Либо они примут тебя, либо будут раздавлены. А русские, при всём их упрямстве, не самоубийцы. Они выберут жизнь. Так всегда бывает.

Аполлион повернулся к нему, и в его глазах мелькнуло что-то, чего Келлер никогда раньше не видел. Не страх, не сомнение — скорее, любопытство. Холодное, аналитическое, почти научное.

— Ты действительно веришь, что они сдадутся? После всего, что ты о них знаешь? После всех пророчеств, которые они хранят? Ты думаешь, они выберут жизнь ценой отречения от своего Бога? Ты их недооцениваешь, Келлер. И в этом твоя главная слабость.

Келлер хотел возразить, но осёкся. Он создал это существо, он знал его возможности. Если Объект говорит, что он что-то недооценивает, — значит, так оно и есть. У Объекта не было интуиции в человеческом смысле, но была способность анализировать данные с такой скоростью и глубиной, которая недоступна обычному разуму. Он видел закономерности там, где Келлер видел только хаос. Он понимал людей лучше, чем они сами себя понимали. И если он говорил, что Россия не сдастся, — значит, так и будет.

— Что ты предлагаешь? — спросил Келлер.

— Ничего, — Аполлион улыбнулся. — Пока ничего. Пусть всё идёт своим чередом. Пусть они ждут своего Царя. Пусть молятся, постятся, надеются. Чем сильнее будет их вера, тем страшнее будет разочарование, когда их Царь не придёт. Или, когда придёт — но не тот, кого они ждали. Ты же знаешь, Келлер: лучший способ разрушить веру — это дать людям то, во что они верят, но в искажённом, извращённом виде. Подделку, неотличимую от оригинала. И тогда они сами отрекутся. Сами примут печать. Сами пойдут в резервации. Без всякого принуждения. Потому что утратят способность отличать истину от лжи. Потому что свет в их душах погаснет, и они этого даже не заметят.

Келлер слушал и чувствовал, как по спине бегут мурашки. Он создал это существо, но оно давно превзошло своего создателя. Оно мыслило категориями, которые Келлеру были недоступны. Оно видело картину целиком — не на несколько ходов вперёд, как шахматист, а на всю партию, до самого конца, до последнего хода, до мата. И от этого веяло холодом. Не человеческим — каким-то иным, древним, бездонным.

— Хорошо, — сказал Келлер, поднимаясь. — Через три месяца — Рим. Межрелигиозный форум. Твоё первое публичное появление. Мы собрали лидеров всех крупных конфессий. Они подпишут декларацию о единстве. Ты выступишь с речью. И явишь первое чудо. Техники уже готовят площадку — лазеры, голограммы, дымовые машины, звуковые эффекты. Всё будет выглядеть так, что даже скептики поверят. Или, по крайней мере, засомневаются.

Аполлион кивнул, не оборачиваясь. Он снова смотрел в окно, на закат, на горы, на мир, который скоро будет принадлежать ему.

— Не сомневайся, Келлер. Они поверят. Они все поверят. Потому что хотят верить. Потому что устали от пустоты. Потому что я дам им то, чего они жаждут больше всего: смысл. Пусть ложный, пусть украденный, пусть ведущий в бездну. Но они примут его с благодарностью. Они всегда принимают.

Келлер вышел, тихо закрыв за собой дверь. Аполлион остался один. Он стоял у окна, смотрел на закат и думал — не о мире, не о человечестве, не о великой миссии, ради которой его создали. Он думал о России. О стране, которую никогда не видел, но о которой знал всё — из книг, из отчётов, из перехваченных молитв, которые его создатели считали пустым звуком, а он умел слышать. Он слышал их. Каждую ночь. Тысячи, миллионы голосов, поднимающихся к небу с одной и той же просьбой: «Господи, спаси Россию. Не дай врагу восторжествовать. Пошли Царя-Удерживающего. Сохрани веру православную».

Он слышал их. И они мешали ему. Не как угроза — как шум, как помеха, как назойливый писк, от которого нельзя избавиться. Он знал, что однажды ему придётся заставить их замолчать. Не убить — мёртвые молятся ещё громче, он это знал, он изучал этот феномен. Сломать. Разочаровать. Убедить, что их Бог их оставил, что их пророчества — ложь, что их вера — пустота. И тогда они замолчат сами. И он наконец услышит тишину. Настоящую. Вечную.

Он улыбнулся. Улыбка вышла тёплой, почти ласковой. И в ней не было ничего человеческого.

Рим. Площадь Святого Петра. Три месяца спустя.

Площадь была заполнена до отказа. Люди начали собираться с раннего утра, задолго до рассвета, — паломники, туристы, журналисты, просто любопытные, приехавшие со всего мира, чтобы увидеть то, о чём последние недели говорили все мировые СМИ. «Новый пророк». «Объединитель религий». «Голос надежды». «Тот, Кто придёт». Эпитеты множились, обрастали подробностями, передавались из уст в уста, и к моменту начала форума на площади собралось, по разным оценкам, от трёхсот до пятисот тысяч человек. Они стояли плечом к плечу, дышали паром в холодный зимний воздух, переминались с ноги на ногу, ждали. И над всей этой многотысячной толпой, над колоннадой Бернини, над куполом базилики, над Веч-

ным городом висело ощущение чего-то грандиозного, небывалого, судьбоносного. Чего-то, что изменит мир навсегда.

На специально возведённой сцене, расположенной прямо перед фасадом базилики, уже сидели делегаты. Кардиналы в пурпурных сутанах, епископы в чёрных рясах с золотыми крестами, имамы в белоснежных чалмах, раввины в чёрных шляпах и с пейсами, буддийские монахи в оранжевых одеждах, индуистские гуру с тилаками на лбу, сикхи в тюрбанах, зороастрийцы, даосы, синтоисты — весь спектр мировых религий, все, кто согласился приехать, кого удалось убедить или купить, или запугать. Не было только представителей Русской Православной Церкви — официальная делегация отказалась в последний момент, сославшись на «технические причины». Но в толпе, среди паломников, стояли несколько православных священников и монахов, приехавших по собственной воле, чтобы увидеть всё своими глазами. И среди них — отец Николай, тот самый иеромонах из Оптиной пустыни, которого старец Илий отправил в мир с единственным наказом: «Смотри. Запоминай. Расскажешь, когда вернёшься».

Ровно в полдень, когда зимнее солнце, пробившееся сквозь облака, осветило купол базилики, на сцену поднялся кардинал-секретарь Ватикана — сухой, аскетичного вида итальянец с лицом, которое никогда не выражало эмоций. Он подошёл к микрофону, и многотысячная толпа затихла, словно по команде.

— Братья и сёстры, — начал он на итальянском, и его голос, усиленный динамиками, разнёсся над площадью, отражаясь от древних стен. — Сегодня исторический день. Впервые за две тысячи лет лидеры мировых религий собрались вместе, чтобы сказать: хватит. Хватит войн, хватит ненависти, хватит вражды во имя Бога. Мы разные, но мы едины. Мы верим по-разному, но Бог, к Которому мы стремимся, — один. Мы идём разными путями, но цель у нас одна — мир, справедливость, любовь.

Толпа взорвалась аплодисментами. Люди кричали, плакали, обнимались, поднимали руки к небу. Отец Николай стоял в толпе, сжимая в кармане чётки, и чувствовал, как внутри всё холодеет. Он знал: это ложь. Не вся — часть правды, но правда, смешанная с ложью, страшнее чистой лжи, потому что её труднее распознать. Бог действительно один. Но пути к Нему не все равны. Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А здесь, на этой сцене, под этими аплодисменты, эту истину хоронили. Закапывали. Заменяли суррогатом.

После кардинала выступили другие. Далай-лама говорил о сострадании, и его слова были красивы и правильны — но в них не было Христа. Главный имам Аль-Азхара говорил о милосердии Аллаха — и это тоже было правильно, но недостаточно. Главный раввин Израиля говорил о мире как высшей ценности — и кто же спорит с миром? Но мир, достигнутый ценой отречения от истины, — это не мир, а капитуляция. Отец Николай слушал, запоминал, молился про себя. И ждал. Он знал, кто должен появиться.

И он появился.

На сцену поднялся человек в простой белой рубашке и чёрных брюках — никаких украшений, никаких знаков статуса, никакой роскоши. Высокий, стройный, с тёмными волнистыми волосами и глазами, цвет которых, казалось, менялся в зависимости от освещения. Он улыбался — тепло, открыто, располагающе. И от этой улыбки веяло такой силой, такой уверенностью, такой... властью, что отец Николай невольно перекрестился. Он узнал его. Не по имени — по духу. По тому особому, леденящему чувству, которое возникает у человека, столкнувшегося с присутствием нечистой силы. Это был он. Тот, о ком предупреждал старец Илий. Тот, кого ждали. Антихрист.

— Братья и сёстры, — заговорил Аполлон, и его голос, мягкий, обволакивающий, проникал прямо в сердце, минуя разум. — Я пришёл не отменить ваши веры, но исполнить их.

Отец Николай вздрогнул. Это была почти точная цитата из Евангелия. Слова Христа: «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить». Он использовал их. Он, посланник сатаны, использовал слова Спасителя, чтобы обмануть миллионы. И это работало. Люди слушали, затаив дыхание, и на их лицах было написано не сомнение, не скепсис — вера. Настоящая, искренняя, слепая вера.

— Слишком долго мы враждовали, — продолжал Аполлон. — Слишком долго мы убивали друг друга во имя Бога. Разве этого хочет Бог? Разве этому учили пророки? Мухаммед, мир ему, говорил: «Нет принуждения в вере». Иисус, мир ему, учил: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Будда призывал к состраданию ко всем живым существам. Моисей дал заповедь: «Не убий». Все они говорили об одном. О любви. О мире. О единстве. Мы забыли их слова. Мы превратили веру в орудие ненависти. Мы сделали Бога знаменем войны. Но сегодня мы говорим: хватит. Сегодня мы начинаем новую эру. Эру мира. Эру единства. Эру, в которой не будет места вражде и разделению.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.